

Викентий Вересаев

Без дороги



Викентий Викентьевич Вересаев

Без дороги

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=308602

Аннотация

«Теперь уже три часа ночи. В ушах звучат еще веселые девические голоса, сдерживаемый смех, шепот... Они ушли, в комнате тихо, но самый воздух, кажется, еще дышит этим молодым, разжигающим весельем, и невольная улыбка просится на лицо. Я долго стоял у окна. Начинало светать, в темной, росистой чаще сада была глубокая тишина; где-то далеко, около риги, лаяли собаки... Дунул ветер, на вершине липы обломился сухой сучок и, цепляясь за ветви, упал на дорожку аллеи; из-за сарая потянуло крепким запахом мокрого орешника. Как хорошо! Я стою и не могу насмотреться; душа через край переполнена тихим, безотчетным счастьем...»

Содержание

Часть первая

4

Часть вторая

80

Викентий Вересаев

Без дороги

Часть первая

20 июня 1892 года. С-цо Касаткино

Теперь уже три часа ночи. В ушах звучат еще веселые девические голоса, сдерживаемый смех, шепот... Они ушли, в комнате тихо, но самый воздух, кажется, еще дышит этим молодым, разжигающим весельем, и невольная улыбка просится на лицо. Я долго стоял у окна. Начинало светать, в темной, росистой чаще сада была глубокая тишина; где-то далеко, около риги, лаяли собаки... Дунул ветер, на вершине липы обломился сухой сучок и, цепляясь за ветви, упал на дорожку аллеи; из-за сарая потянуло крепким запахом мокрого орешника. Как хорошо! Я стою и не могу насмотреться; душа через край переполнена тихим, безотчетным счастьем.

И грудь вздыхает радостней и шире,

И вновь кого-то хочется обнять...

Кругом все так близко знакомо – и очертания деревьев, и соломенная крыша сарая, и отпряженная бочка с водой под липами. Неужели я целых три года не был здесь? Я как будто

видел все это вчера. А между тем как долго шло время...

Да, мало что хорошего вспомнишь за эти прожитые три года. Сидеть в своей раковине, со страхом озираться вокруг, видеть опасность и сознавать, что единственное спасение для тебя – уничтожиться, уничтожиться телом, душой, всем, чтоб ничего от тебя не осталось... Можно ли с этим жить? Невесело сознаваться, но я именно в таком настроении прожил все эти три года.

«Зачем я от времени зависеть буду? Пускай же лучше оно зависит от меня». Мне часто вспоминаются эти гордые слова Базарова. Вот были люди! Как они верили в себя! А я, кажется, настоящим образом в одно только и верю это именно в неодолимую силу времени. «Зачем я от времени зависеть буду!» Зачем? Оно не отвечает; оно незаметно захватывает тебя и ведет, куда хочет; хорошо, если твой путь лежит туда же, а если нет? Сознавай тогда, что ты идешь не по своей воле, протестуй всем своим существом, – оно все-таки делает по-своему. Я в таком положении и находился. Время тяжелое, глухое и сумрачное со всех сторон охватывало меня, и я со страхом видел, что оно посягает на самое для меня дорогое, посягает на мое мирозерцание, на всю мою душевную жизнь... Гартман говорит, что убеждения наши – плод «бессознательного», а умом мы к ним лишь подыскиваем более или менее подходящие основания; я чувствовал, что там где-то, в этом неуловимом «бессознательном», шла тайная, предательская, неведомая мне работа и что в один прекрас-

ный день я вдруг окажусь во власти этого «бессознательно-го». Мысль эта наполняла меня ужасом: я слишком ясно видел, что правда, жизнь все в *моем* мирозерцании, что если я его потеряю, я потеряю все.

То, что происходило кругом, лишь укрепляло меня в убеждении, что страх мой не напрасен, что сила времени – сила страшная и не по плечу человеку. Каким чудом могло случиться, что в такой короткий срок все так изменилось? Самые светлые имена вдруг потускнели, слова самые великие стали пошлыми и смешными; на смену вчерашнему поколению явилось новое, и не верилось: неужели *эти* – всего только младшие братья, вчерашних. В литературе медленно, но непрерывно шло общее заворачивание фронта, и шло во-все не во имя каких-либо новых начал, – о нет! Дело было очень ясно: это было лишь ренегатство – ренегатство общее, массовое и, что всего ужаснее, бессознательное. Литература тщательно оплевывала в прошлом все светлое и сильное, но оплевывала наивно, сама того не замечая, воображая, что поддерживает какие-то «заветы»; прежнее чистое знамя в ее руках давно уже обратилось в грязную тряпку, а она с гордостью несла эту опозоренную ею святыню и звала к ней читателя; с мертвым сердцем, без огня и без веры, говорила она что-то, чему никто не верил...

Я с пристальным вниманием следил за всеми этими переменами; обидно становилось за человека, так покорно и бессознательно идущего туда, куда его гонит время. Но при этом

я не мог не видеть и всей чудовищной уродливости моего собственного положения: отчаянно стараясь стать *выше времени* (как будто это возможно!), недоверчиво встречая всякое новое веяние, я обрекал себя на мертвую неподвижность; мне грозила опасность обратиться в совершенно «обессмысленную щепку» когда-то «победоносного корабля». Путаясь все больше в этом безвыходном противоречии, заглушая в душе горькое презрение к себе, я пришел, наконец, к результату, о котором говорил: уничтожиться, уничтожиться совершенно единственное для меня спасение.

Я не бичую себя, потому что тогда непременно начнешь лгать и преувеличивать; но в этом-то нужно сознаться, – что такое настроение мало способствует уважению к себе. Заглянешь в душу, – так там холодно и темно, так гадко-жалок этот бессильный страх перед окружающим! И кажется тебе, что никто никогда не переживал ничего подобного, что ты – какой-то странный урод, выброшенный на свет теперешним странным, неопределенным временем... Тяжело жить так. Меня спасала только работа; а работы мне, как земскому врачу, было много, особенно в последний год, – работы тяжелой и ответственной. Этого мне и нужно было; всем существом отдаться делу, *наркотизироваться* им, совершенно забыть себя – вот была моя цель.

Теперь служба моя кончилась. Кончилась она неожиданно и довольно характерно. Почти против воли я стал в зем-

стве каким-то *enfant terrible*,¹ председатель управы не мог равнодушно слышать моего имени. Подоспел голодный тиф; я проработал на эпидемии четыре месяца и в конце апреля свалился сам, а когда поправился... то оказалось, что во мне больше не нуждаются. Дело сложилось так, что я должен был уйти, если не хотел, чтоб мне плевали в лицо... Э, да что вспоминать! Я взял отставку и вот приехал сюда. Забыть все это!..

Большая зала старинного помещичьего дома, на столе кипит самовар; висячая лампа ярко освещает накрытый ужин, дальше, по углам комнаты, почти совсем темно; под потолком сонно гудят и жужжат стаи мух. Все окна раскрыты настежь, и теплая ночь смотрит в них из сада, залитого лунным светом; с реки слабо доносятся женский смех и крики, плеск воды.

Мы ходим с дядей по зале. За эти три года он сильно постарел и растолстел, покрякивает после каждой фразы, но радушен и говорлив по-прежнему; он рассказывает мне о видах на урожай, о начавшемся покосе. Сильная, румяная девушка, с платочком на голове и босая, внесла шипящую на сковороде яичницу; по дороге она отстранила локтем полузакрытую дверь; стаи мух под потолком всколыхнулись и загудели сильнее.

– А вот у нас одно есть, чего у вас нету, – сказал дядя,

¹ Буквально: ужасный ребенок; здесь – человек, позволяющий себе то, на что другие не отваживаются (*франц.*).

улыбаясь и смотря на меня своими выпуклыми близорукими глазками.

– Что это? – спросил я, сдерживая улыбку.

– Мухи!

Когда я еще студентом приезжал сюда на лето, дядя каждый раз слово в слово делал это же замечание.

Тетя Софья Алексеевна воротилась с купанья; еще за две комнаты слышен ее громкий голос, отдающий приказания.

– Палашка! возьми простыню, повесь на дверь в спальне! Да зовите мальчиков к ужину, где они?... Котлеты подавайте, варенец, сливки с погребца... Скорей! Где Аринка? А, яичницу уже подали, – говорит она, торопливо входя и садясь к самовару. – Ну, господа, чего же вы ждете? Хотите, чтоб остыла яичница? Садитесь!

Софья Алексеевна одета в старую синюю блузу, ее лицо сильно загорело, и все-таки она всем своим обликом очень напоминает французскую маркизу прошлого столетия; ее поседевшие волосы, пушистую каймою окружающие круглое лицо, выглядят как напудренные.

– А как же? Разве без барышень можно? – спросил дядя.

– Можно, можно! Пускай не опаздывают!

– Нет, это нельзя. Как же ты нас заставляешь нарушить рыцарский кодекс?

– Да ну, будет тебе! Ведь Митя голоден с дороги. Тоже – рыцарь! – сказала Софья Алексеевна с чуть заметной усмешкой.

– Ну, нечего делать: приказано, так надо слушаться. Что ж, сядем, Дмитрий? Вот выпьем водочки – и за яичницу приедемся.

Он поставил рядом две рюмки и стал наливать в них из графинчика полыновку.

– А как водка будет по-латыни – aqua vitae? – спросил он.

– Да.

– Гм! «Вода жизни»... – Дядя несколько времени в раздумье смотрел на наполненные рюмки. – А ведь остроумно придумано! – сказал он, вскидывая на меня глазами, и засмеялся дребезжащим смехом. – Ну, будь здоров!

Мы чокнулись, выпили и принялись за еду.

– Где же, однако, барышни наши? – спросил дядя, с аппетитом пережевывая яичницу. – Я беспокоюсь.

– Ешь яичницу и не беспокойся. Барышни наши уж выкупались, – ответила тетя.

В саду под окнами раздались голоса, стеклянная дверь балкона звякнула и распахнулась.

– Ну, вот тебе и барышни наши: слава богу, за полверсты слышно.

Они шумно вошли в залу. Лица их после купанья свежи и оживленны, темные волосы Наташи влажны, и она длинным покрывалом распустила их по спине. Дядя увидел это и пришел якобы в негодование.

– Наташа, что это значит, что у тебя волосы распущены?

– Я ныряла, – быстро ответила она, садясь к столу.

– Так что ж такое?

– Соня, передай ветчину... Ну, так вот нужно, чтоб волосы просохли.

– Зачем это нужно? – изумленно спросил дядя и юмористически поднял брови. – Нет, взрослым девицам вовсе не подобает ходить с распущенными волосами! – сказал он, качая головой.

Но поучение его пропало даром; все были заняты едой и, удерживаясь от смеха, трунили почему-то над Лидой. Лида краснела и хмурилась, но когда Соня, проговорив: «спасайся, кто может!», вдруг прорвалась хохотом, то и Лида рассмеялась.

– Что это вы, Лида, в большой опасности находились? – вполголоса спросил я, невольно и сам улыбаясь.

Наташа быстро взглянула на меня и незаметно повела взглядом на отца; значит, здесь тайна, которую мне объяснят потом.

– А что же ты, Дмитрий, макарон к котлетам не взял? – спохватился дядя. – Дай я тебе положу.

Он наложил мне в тарелку макарон.

– У итальянцев макароны – самое любимое кушанье, – сообщил он мне.

Очень радушный хозяин дядя, но – признаться – скучновато сидеть между «большими», и, право, я давно знаю, что итальянцы любят макароны.

Пришли и мальчики. Миша – пятнадцатилетний сильный

парень, с мрачным, насупленным лицом – молча сел и сейчас же принялся за яичницу. Петька двумя годами моложе его и на класс старше; это крепыш невысокого роста, с большой головой; он пришел с книгой, сел к столу и, подперев скулы кулаками, стал читать.

– Ну, Митечка, рассказывай же, что ты это время подделывал, – сказала Софья Алексеевна, кладя мне руку на локоть.

Наташа подняла было голову и в ожидании устремила на меня глаза. Но мне так не хочется рассказывать...

– Ей-богу, тетя, ничего нет интересного; служил, лечил – вот и все... А скажите, – я сейчас через Шеметово ехал, – кто это там за околицей новую мельницу поставил?

– Да это же Устин наш, разве ты не знал? Как же, как же! Уж второй год работает мельница...

И начался длинный ряд деревенских новостей. В зале уютно, старинные, засиженные мухами часы мерно тикают, в окна светит месяц... Тихо и хорошо на душе. Все эти девчурки-подростки стали теперь взрослыми девушками; какие у них славные лица! Что-то представляет собою моя прежняя «девичья команда»? Так называла их всех Софья Алексеевна, когда я, студентом, приезжал сюда на лето...

С конца стола донесся ярый рев, от которого все вздрогнули.

– Что такое? – грозно крикнула тетя. – Кто это там?

– Это – я! – торжественно объявил Петька.

– Ну, конечно, так и есть: кому же еще? Я тебе, дрянь-

мальчишка!

– Это я читать кончил, – объяснил Петька.

Дядя поднял голову и, словно только что проснулся, повел кругом глазами.

– Э... э... Что это? – спросил он, побрякивая. – Должно быть, Петька опять дикие звуки испускает, а?

Ему никто не ответил. Он крикнул и подложил себе в чай сахару. Петька сидел, развалясь на, стуле, и широко ухмылялся.

– Крик могучий, крик пернатый... я в своем сердце ощутил... Крик ужасный, крик... неясный... я из себя испустил... Кхе-кхе-кхе! Как хорошо вышло!

И, совершенно довольный, Петька придвинул к себе тарелку и стал накладывать творогу. Кругом смеялись, а он старательно разминал ложкою творог с сахаром, как будто не о нем совсем шло дело.

Чай отпили.

– А что, Вера Николаевна, усладите вы сегодня наш слух своею музыкой? спросил дядя.

Вера, племянница Софьи Алексеевны, – стройная, худощавая блондинка с матово-бледным лицом и добрыми глазами; она собирается осенью ехать в консерваторию, и, говорят, у нее действительно есть талант.

– Да, да, Вера, – сказал я. – Сыграйте-ка что-нибудь после ужина; я в Пожарске столько слышал о вашем таланте.

Вера встрепенулась.

– Ах, господи! Митя, я вам наперед говорю: если вы такие вещи говорить будете, я н-ни за что не стану играть!

– Да не беспокойтесь, пожалуйста, я вот сначала послушаю. Очень может быть, что после этого и не стану говорить.

Дядя засмеялся и встал из-за стола.

– Ну, кажется, все уже кончили. Докажите ему, Вера Николаевна, что и Пожарск может собственных Невтонов родить!

Все перешли в гостиную. Вера села за рояль, быстро пробежала рукой по клавишам и с размаху сильно ударила пальцем в середине клавиатуры.

– Что же вам сыграть? – спросила она, повернув ко мне голову.

– Это всегда так знаменитые музыканты начинают! – почтительно произнес Петька и ткнул указательным пальцем в Верин палец, нажимавший клавишу.

– Да ну, Петя, будет! – рассмеялась она, стряхивая его руку.

Тетя отогнала Петьку от рояля.

Я попросил играть Бетховена. Наташа широко распахнула двери балкона. Из сада потянуло росой и запахом душистого тополя; в акации шелкал запоздалый соловей, и его песня покрылась громкими, дико-оригинальными бетховенскими аккордами. В зале, при свете маленькой лампочки, убирали чай. Дядя сопел на диване и слушал, выкатив глаза.

Я мало понимаю в музыке; я даже не мог бы сказать, го-

ре или радость выражены в сонате, которую играла Вера; но что-то накапливает на сердце от этих чудных, непонятных звуков, и хорошо становится. Вспоминается прошлое; многое в нем кажется теперь чуждым и странным, как будто это другой кто жил за тебя. Я мучился тем, что нет во мне живого огня, я работал, горько смеясь в душе над самим собою... Да полно, прав ли я был? Все жили спокойно и счастливо, а я ушел туда, где много горя, много нужды и так мало поддержки и помощи; знают ли они о тех лишениях, тех нравственных муках, которые мне приходилось там терпеть? А я для этого сознательно отказался от довольной и обеспеченной жизни... И принес я с собой оттуда лишь одно – неизлечимую болезнь, которая сведет меня в могилу.

Вера играла. Ее бледное лицо смотрело сосредоточенно, только в углах губ дрожала лукавая улыбка; пальцы тонких, красивых рук быстро бегали по клавишам... О да! теперь бы и я мог уверенно сказать: сколько задорного, молодого счастья в этих звуках! Они знать не хотят никакого горя: чудно-хороша жизнь, вся она дышит красотой и радостью; к чему же выдумывать себе какие-то муки?... Вершины тополей, освещенные месяцем, каждым листиком вырисовывались в прозрачном воздухе; за рекою, на склоне горы, темнели дубовые кусты, дальше тянулись поля, окутанные серебристым сумраком. Хорошо там теперь. Дядя по-прежнему сопел, понурился голову. Дремлет ли он или слушает?

Ко мне неслышно подошла Наташа.

– Митя, пойдём мы сегодня гулять? – шепотом спросила она, близко наклонившись и блестя глазами.

– Конечно! – тихо ответил я. – А что, вам еще и теперь не позволяют гулять по вечерам?

Наташа с улыбкой наклонила голову, указала взглядом на отца и отошла.

Пальцы Веры с невозможной быстротою бегали по клавишам; бешено-веселые звуки крутились, захватывали и шаловливо уносили куда-то. Хотелось смеяться, смеяться без конца, и дурачиться, и радоваться тому, что и ты молод... Раздались громовые заключительные аккорды Вера опустила крышку рояля и быстро встала.

– Славно, Вера, ей-богу, славно! – воскликнул я, обеими руками крепко пожимая ее руки и любуясь ее счастливо улыбавшимся лицом.

Дядя поднялся с дивана и подошел к нам.

– Вера Николаевна своей музыкой, как Орфей в аду... укрощает камни... – любезно сказал он.

– Именно, именно, камни укрощает! – с мальчишеским чувством подхватил я. – За вашу музыку я вас сегодня гулять с собой возьму, – шутливо шепнул я ей.

– Благодарю! – ответила она, улыбаясь.

Дядя зевнул и вынул часы.

– Ого! уже скоро одиннадцать!.. Пора и на боковую. Как ты думаешь, Дмитрий? В деревне всегда надо рано ложиться и рано вставать. Покойной ночи! Как это?... э... э... Leben

Сие wohl, essen Sie Kohl, trinken Sie Bier, lieben Sie mir!..² Ххе-хе-хе-хе? – Дядя засмеялся и протянул мне руку. Немцы без бира никогда не обойдутся.

Он простился и ушел. Я стал перелистывать лежавшую на столе «Ниву»; остальные тоже делали вид, что чем-то заняты. Тетя окинула всех нас взглядом и засмеялась.

– Ну, Митя, вы, я вижу, гулять собираетесь! – сказала она, лукаво грозя пальцем.

Я расхохотался и захлопнул «Ниву».

– Тетя, посмотрите, какая ночь!

– Да, Митечка, ведь ты же больше суток в дороге был! Ну, где тебе еще гулять?

– Речь тут не обо мне, тетя...

– Стал ты доктором, а, право, все такой же, как прежде...

– Ну, значит, позволяете! – заключил я. – А мальчиков можно с собой взять?

– Э, да уж идите все! – махнула она рукой. – Только, господа, потише, чтоб папка не слышал, а то буря будет... Я велю вам в зале кринку молока оставить: может быть, проголодаетесь... Прощайте! Счастливого пути!

Мы спустились в сад.

– Ну, что же, господа, на лодке поедем? – шепотом спросил я.

– Конечно, на лодке!.. В Грёково, – быстро сказала Ната-

² Живите хорошо, ешьте капусту, пейте пиво, любите меня! (*Немецкая поговорка.*)

ша. – Ах, Митя, ночь какая! Прогуляем сегодня до утра?...

Все были как-то особенно оживлены, – даже полная, сонливая Соня, старшая сестра Наташи. Мы свернули в темную боковую аллею; в ней пахло сыростью, и свет месяца еле пробивался сквозь густую листву акаций.

– Вот, Митя, потеха была сегодня! – смеясь, заговорила Наташа. – Выкупались мы перед ужином и переехали в лодке на ту сторону; возвратились назад, – я весла выбросила на берег, выпрыгнула сама и нечаянно ногою оттолкнула лодку. Лида сидела на корме, – вдруг как вскочит: «Ах, господи-батюшки! Спасайся, кто может!» – и как была, одетая, – в воду!

– Я испугалась: как бы мы без весел к берегу подъехали? – краснея, стала оправдываться Лида, сестра Веры.

Странная эта Лида: молчаливая и застенчивая, она краснеет при самом, незначительном обращенном к ней слове.

– И вся, вся замочилась, выше пояса! – хохотала Наташа. – Пришлось сбегать домой, принести ей сухое платье.

– «Спасайся, кто может!» Ххо-ххо-ххо! – в восторге засмеялся Петька и обеими руками крепко обнял Лиду за талию.

– Да ну; Петька, пошел прочь! – с досадой сказала Лида. – Вешается ко всем.

– Ах, Лида, Лида! За что ты меня ожесточаешь? – меланхолически произнес Петька. – Если бы ты могла знать чувства мужского сердца!

– Ну, Петька! Шут! – лениво засмеялась Соня.

Аллея кончалась калиточкой. За нею по косогору спускалась к реке узкая тропинка. Наташа неожиданно положила руки на плечи Веры и вместе с нею быстро побежала под гору.

– Ай!.. Ната-а-аша!!! – закричала Вера, испуганно смеясь и стараясь остановиться. Петька помчался следом за ними.

Когда мы сошли к реке, Вера, обессиленная от смеха и усталости, сидела на лавочке под черемухой и, свесив голову, громко, протяжно охала. Петька сидел рядом и тоже старательно охал.

– Да ну, Петя. Ради бога!.. Ох! – стонала она, хватаясь за грудь. – Будет!.. Ох, не могу! О-о-ох!

– О-о-ох! – вторил Петька.

Вера морщилась и бессильно махала руками, и все-таки смеялась.

– Ну, Верка, размякла совсем! – презрительно сказала Наташа, стоя на корме лодки. – Настоящая рыба!

– Господа! Ведь нас не только в доме, а и в Санине слышно, – запротестовал я.

– Ну, садитесь скорей в лодку, а то мы одни уедем! – крикнула Наташа.

– О-ох, Наташа, Наташа! – вздохнула Вера, поднимаясь и еле бредя к лодке. – Что ты со мною делаешь!

– Да ну же, садитесь скорей! – повторила Наташа, нетерпеливо раскачивая лодку.

Мы с Мишей сели за весла; Вера, Соня, Лида и Петька

разместились в середине, Наташа – у руля. Лодка, описав полукруг, выплыла на середину неподвижной реки; купальня медленно отошла назад и скрылась за выступом. На горе темнел сад, который теперь казался еще гуще, чем днем, а по ту сторону реки, над лугом, высоко в небе стоял месяц, окруженный нежно-синею каймою.

Лодка шла быстро; вода журчала под носом; не хотелось говорить, отдавшись здоровому ощущению мускульной работы и тишине ночи. Меж деревьев всем широким фасадом выглянул дом с белыми колоннами балкона; окна везде были темны: все уже спят. Слева выдвинулись липы и снова скрыли дом. Сад исчез назад; по обе стороны тянулись луга; берег черною полосой отражался в воде, а дальше по реке играл месяц.

– Ах, какая чудная луна! – томно вздохнула Вера. Соня засмеялась.

– Вот, смотри, Митя, она всегда такая: просто не может равнодушно видеть месяца. Раз мы с нею шли в Пожарске через мост; на небе луна, – тусклая, ничего хорошего; а Вера смотрит: «Ах, великолепная луна!..» Такая сентиментальная!

– Сентиментальная! А вот Наташа только что говорила, что я – рыба. Разве рыбы бывают сентиментальные? – спросила Вера с своею медленною и доброю улыбкою.

– Отчего же нет? Высунула рыба нос из воды, смотрит на луну: «Ах, ах! – великолепная луна!»

Соня состригла неожиданно для себя и залилась смехом. Я сложил весла и передохнул.

– Господа, давайте голоса ночи слушать, – предложила Наташа. – Миша, брось весла.

Лодка медленно проплыла несколько аршин, постепенно заворачивая вбок, и наконец остановилась. Все притихли. Две волны ударились о берега, и поверхность реки замерла. С луга тянуло запахом влажного сена, в Санине лаяли собаки. Где-то далеко заржала лошадь в ночном. Месяц слабо дрожал в синей воде, по поверхности реки расходились круги. Лодка повернула боком и совсем приблизилась к берегу. Дунул ветер и слабо зашелестел в осоке, где-то в траве вдруг забила муха.

Я закурил папиросу и стал держать горящую спичку над водой. Из черной глубины быстро вынырнула рыба, оторопело уставилась на огонь выпученными, глупыми глазами и, вильнув хвостом, юркнула назад. Все рассмеялись.

– Как Вера на луну! – сказала Лида, лукаво дрогнув бровью.

Все засмеялись сильнее, а Лида покраснела.

– Ну, господа, дальше можно ехать, – сумрачно проговорил Миша, все время зевавший. Он снова взялся за весла.

Наташа перебралась с кормы на середину лодки.

– Митя, расскажи, за что тебя со службы выгнали, – сказала она, с детской ласкою заглядывая мне в глаза.

– За что выгнали? О голубушка, это история долгая...

– Ну, все-таки расскажи!..

Я стал рассказывать. Все теснее сдвинулись вокруг. Между прочим, рассказал я и о своей первой стычке с председателем, после которой я из «преданного своему делу врача» превратился в «наглого и неотесанного фрондера»; приехав в деревню, где был мой пункт, принципал прислал мне следующую *собственноручную* записку: «Председатель управы желает видеть земского врача Чеканова; обедает у князя Серпуховского». Ну, я ему на обратной стороне его записки ответил: «Земский врач Чеканов не желает видеть председателя управы и обедает у себя дома».

Все рассмеялись.

– Что же он? – быстро спросила Наташа.

– Да ничего. Ответа моего он никому не мог показать, потому что тогда бы прочли и его письмо; ну, а так врачу не пишут.

– Я не понимаю, Митя, как можно было так ответить, – сказала Вера. – Ведь он же ваш начальник?

– Да ну, Вера! всегда вот такая! – нетерпеливо повела Наташа плечами. – Так что ж такое?

– Как – что ж такое? Вот из-за этого Митя потерял место. Хорошо еще, что он неженатый человек.

– Голубушка, Вера, и женатые отказывались от мест, – сказал я. – Читали вы в газетах о саратовской истории? Все врачи, как один человек, отказались. А нужно знать, какие это горькие бедняки были, многие с семьями, – подумать

жутко!

Мы несколько времени плыли молча.

– Свобода вероисповедания... – задумчиво произнес Петька.

– К чему ты это сказал? – с усмешкою спросила Соня.

Петька помолчал.

– К чему я это, правда, сказал? – проговорил он с недоумевающей улыбкой. – А все-таки есть смысл.

– Какой же?

– Го-го!.. Какой! Свобода вероисповедания, – из-за нее в средние века сколько войн происходило.

– Ну, так что ж?

– Ну, так вот.

Я снова сел за весла. Лодка пошла быстрее. Наташа лихо-радочно оживилась; она вдруг охватила обеими руками Веру и, хохоча, стала душить ее поцелуями. Вера крикнула, лодка накренилась и чуть не зачерпнула воды. Все сердито напали на Наташу; она, смеясь, села на корму и взялась за руль.

– Господи, вот сумасшедшая девчонка! Я так испугалась! – говорила Вера, оправляя прическу.

– Скорей, господа, скорей гребите! – говорила Наташа, откидывая распущенные волосы за спину.

Лодка вдруг с шуршащим шумом врезалась в тростник; нас обдало острым запахом аира, его початки закачались и раздались в стороны.

– Сильней гребите, сильней! – смеялась Наташа, нетерпе-

ливо топая ногами. Весла путались в упругих корнях аира, лодка медленно двигалась вперед, окруженная сплошной стеною мясистых, острых, как иглы, стеблей – Ну вот, приехали! Вылезайте!

– Спорить трудно: действительно приехали! – засмеялся я.

Вера переглянулась с Лидой.

– Одн-нако! Довольно-таки по-суворовски! – сказала она, поднимаясь.

– Ничего! Суворов был умный человек. Вылезай! Я вас в грёковской роще ужином накормлю.

– Да, если так, то... Ай, Наташа, осторожнее! Не качай лодку!

Мы вышли на берег. Спуск весь зарос лозняком и тальником. Приходилось прокладывать дорогу сквозь чащу. Миша и Соня недовольно ворчали на Наташу; Вера шла покорно и только охала, когда оступалась о пенек или тянувшуюся по земле ветку. Петька зато был совершенно доволен: он продирался сквозь кусты куда-то в сторону, вдоль реки, с величайшим удовольствием падал, опять поднимался и уходил все дальше.

– Не стоните, тут сейчас тропинка должна быть, – сказала Наташа.

Она остановилась и, подобравши волосы, широким узлом заколола их на затылке.

– Ах, Митя, если бы ты знал, как я рада, что ты приехал! –

вдруг вполголоса сказала она и с быстрой, радостной улыбкой взглянула на меня из-под поднятой руки.

– Эй, вы... акафисты! – донесся из-за кустов голос Петьки. – Идите сюда: тропинка!

– Ну, слава богу! – облегченно вздохнула Соня, и все повернули на голос.

Мы поднялись по тропинке вверх. Над обрывом высились три молодых дубка, а дальше без конца тянулась во все стороны созревшая рожь. Так и пахло в лицо теплом и простором. Внизу слабо дымилась неподвижная река.

– Ох, устала! – проговорила Вера, опускаясь на траву. – Господа, я не могу дальше идти, нужно отдохнуть... Ох! Садитесь!..

– Фу ты, безобразие! Как старуха, охает! – сказала Наташа. – Сколько раз ты сегодня охнула?

– Старость приходит, о-ох!.. – вздохнула Вера и засмеялась.

Опершись на локоть, она закинула голову кверху и стала смотреть в небо. Мы все тоже сели. Наташа стояла на самом краю обрыва и смотрела на реку.

Ветер слабо дул с запада; кругом медленно волновалась рожь. Наташа повернулась и подставила лицо навстречу ветру.

– Господи!.. Наташа, смотри, где ты стоишь! – испуганно вскрикнула Вера.

Край обрыва надтреснул, и Наташа стояла на земляной

глыбе, нависшей над берегом. Наташа медленно посмотрела под ноги, потом на Веру; задорный бесенок глянул из ее глаз. Она качнулась, и глыба под нею дрогнула.

– Наташа, да сойди же сию минуту, – волновалась Вера.

– Ну, Верка, не сентиментальничай! – засмеялась Наташа, раскачиваясь на колыхавшейся глыбе.

– Ах, господи, бешеная девчонка!.. Наташа, ну ради бога!

– Наташа, да ты вправду с ума сошла! – воскликнул я, поднимаясь.

Но в это время глыба сорвалась, и Наташа вместе с нею рухнула вниз. Вера и Соня истерически вскрикнули. Внизу затрещали кусты. Я бросился туда.

Наташа, оправляя платье, быстро выходила из кустов на тропинку. Одна щека ее разгорелась, глаза ярко блестели.

– Ну, можно ли, Наташа, так?!. Что, ты больно ушиблась?

– Да ничего же, Митя, что ты! – ответила она, вспыхнув.

– Не может быть ничего: с такой высоты!.. Эх, Наташа!

Если ушиблась, так скажи же.

– Ах, Митя, какой ты чудак! – рассмеялась она. – Ну, что это – из-за каждого пустяка такую тревогу подымать.

Она быстро стала подниматься по тропинке вверх.

– Это бог знает что такое! – сердито встретила ее Соня. – Право, ведь всему есть мера. Этакая глупость!.. Недоставало, чтобы ты себе сломала ногу.

Наташа широко раскрыла глаза и медленно спросила:

– Кому до этого дело?

– Ах, господи! – всплеснула Вера руками. – Вот меня всегда в таких случаях возмущает Наташа!.. «Кому дело»! Папе и маме твоим дело, нам всем дело!.. Как это так всегда, постоянно и постоянно о себе одной думать!

– Всегда, постоянно и постоянно... – благоговейно повторил Петька и задумался, словно стараясь вникнуть в глубокий смысл этих слов.

– Ну, ну! *просто* – постоянно! – улыбнулась Вера.

Петька захихикал.

– Всегда, постоянно и постоянно! Как хорошо выходит: всегда, постоянно... и постоянно!

– Ну, господа, довольно сидеть! Идем дальше! – сказала Наташа. – Вот так, прямо через рожь, всего полверсты будет до роши.

– О Петя, Петя! Всегда-то ты меня обижаешь! – вздохнула Вера, опираясь о его плечо и поднимаясь.

Мы пошли через рожь по широкой меже, заросшей полынью и полевой рябинкой.

– Вот и дома тоже, когда я рассержусь, я начинаю говорить очень неправильно, – сказала Вера. – И мальчики сейчас этим пользуются.

– Вера, неужели вы тоже умеете сердиться? – удивленно спросил я.

– О, да еще как! – улыбнулась она. – Только мальчики совсем не боятся. Я заговорюсь, скажу что-нибудь, – они сей-

час подхватят, я и. рассмеюсь. Особенно Саша, – он такой остроумный; и у него совсем какой-то особенный юмор.

Вера начала рассказывать о своих братьях. Знала она их удивительно: столько в ее рассказах сказалось наблюдательности, столько любви и тонкого психологического чутья, что я слушал с действительным интересом. Остальные довольно недвусмысленно выражали желание переменить разговор.

– Ну, ну, я сейчас кончу! – торопливо возражала Вера и продолжала рассказывать без конца.

Вдруг в темноте раздался звонкий подзатыльник, что-то охнуло, и Петька кубарем покатился в рожь.

– Дурак! – послышалось изо ржи.

Миша гневно крикнул:

– Я тебе еще не так влеплю, дрянь!

Петька вышел на межу и стал счищать с себя пыль.

– Думает, что сильнее, старший братец, так может, что хочет, делать! – сердился он.

– Да в чем дело? Миша, за что ты его? – спросила Соня.

– Черт знает что такое! Иду, – вдруг он меня за нос хватает!.. Попробуй-ка еще раз!

– А я почему знал, что это твой нос? Ты бы сказал. А то я вижу, морква какая-то торчит, – длинная, мокрая... Мне, конечно, интересно.

– Глупо-с, Петенька! – ядовито заметил Миша.

– Склизкая такая, холодная...

Кругом смеялись. Петька был отомщен. Миша презри-

тельно процедил:

– Шут гороховый!

– О-о-о-хо-хо! – глубоко вздохнул Петька, подтянул брюки и огляделся по сторонам. – У Наташи в глазах две курсистки сидят, – объявил он. – В каждом глазу по курсистке. одна в очках, другая без очков.

– Ну, оставь, Петя! – недовольно остановила Наташа.

– А ты разве на курсы собираешься? – быстро спросил я.

– Н-нет... не знаю, – ответила она и взглянула вперед. –

Вот она, грёковская роща!

Средь светлой ржи, отлого тянувшейся вниз, широкою, неправильною полосою вилась грёковская лощина; на склоне ее, вся залитая лунным светом, темнела небольшая осиновая роща.

Лощинка была уже выкошена. Ручей, густо заросший тростником и резикой, сонно журчал в темноте; под обрывом близ омута что-то однообразно, чуть слышно пищало в воде. Из глубины лощины тянуло влажным, пахучим холодком.

Мы перебрались через ручей и вошли в рощу. В середине ее была сажалка, вся сплошь зацветшая. Наташа спустилась к самому ее берегу и из глубины развесистого липового куста достала небольшой холстинковый мешочек.

– Господа, костер нужно будет разводить! Вот вам ужин, – с торжеством заявила она.

В мешочке оказалось десятка три сырых картофелин, четыре ржаных лепешки и соль. Все расхохотались.

– Откуда это у тебя тут?

– Очень просто: я часто хожу сюда читать; проголодаюсь, – разведу костер, спеку картофелю и позавтракаю.

– Г-ге-ге! Это нужно вперед знать, – сказал Петька, почесав за ухом.

Все рассыпались по роще, ломая для костра нижние сухие сучья осин. Роща огласилась треском, говором и смехом. Сучья стаскивались к берегу сажалки, где Вера и Соня разводили костер. Огонь запрыгал по трещавшим сучьям, освещая кусты и нижние ветви ближайших осин; между вершинами синело темное звездное небо; с костра вместе с дымом срывались искры и гасли далеко вверху. Вера отгребла в сторону горячий уголь и положила в него картофелины.

Сначала все шутили и смеялись, потом примолкли. Костер догорал, все было съедено. Петька, положив вихрастую голову на колени Веры, задремал; она с материнскою заботливостью укутала его своим платком и сидела не шевелясь. И опять, как тогда за роялем, ее лицо стало красиво и одухотворенно.

Мы долго сидели у костра; под пеплом бегали огненные змейки, листья осин слабо шумели над головой. Я рассказывал о своей службе, о голоде и голодном тифе, о том, как жалко было при этом положение нас, врачей: требовалось лишь одно – кормить, получше кормить здоровых, чтоб сделать их более устойчивыми против заражения; но пособий едва хватало на то, чтоб не дать им умереть с голоду. И вот одного за

другим валила страшная болезнь, а мы беспомощно стояли перед нею со своими ненужными лекарствами... Вера сидела, задумчиво глядя на лицо спящего Петьки; кажется, она мало слушала: мысли ее были далеко, в Пожарске, и она думала о своих братьях.

Наконец мы собрались домой. Месяц уже давно сел, на востоке появилась светлая полоска; лощина тонула в белом тумане, и становилось холодно. Было поздно, приходилось возвращаться домой по самой короткой дороге; Наташа взялась сходить завтра утром за лодкой и пригнать ее домой. Мы поднялись на гору, прошли через рожь, потом долго шли по пару и вышли наконец на торную дорогу; круто обогнув крестьянские овсы, она мимо березовой рощи спускалась вниз к Большому лугу. Весь луг был покрыт густым туманом, и перед нами как будто медленно колыхалось огромное озеро. Мы спустились в это туманное озеро. Грудь теснило сыростью, тяжело было дышать; на траве по бокам дороги белела роса. Мы шли, рассекая туман.

– Слушай! – сказала вдруг Наташа, схватив меня за локоть.

Мы остановились. Тишина кругом была мертвая; и вдруг близ рощи, в овсах, робко, неуверенно зазвенел жаворонок. Его трель слабо оборвалась в сыром воздухе, и опять все смолкло, и стало еще тише.

Вдали начали вырисовываться в тумане темные силуэты деревьев и крыши изб; у околицы тявкнула собака. Мы под-

нялись по деревенской улице и вошли во двор. Здесь тумана уже не было; крыша сарая резко чернела на светлевшем небе; от скотного двора несло теплом и запахом навоза, там слышались мычание и глухой топот. Собаки спали вокруг крыльца.

– Ну, господа, потише теперь, а то всех разбудим! – предупредил я.

В голове звенело, нервы были напряжены; у всех глаза странно блестели, и опять стало весело.

– Что ж, Митя, будем мы молоко пить? – спросила Наташа.

– Уж лучше не надо: разбудим мы всех.

– А мы вот как сделаем: мы к тебе наверх молоко принесем и там будем пить.

Мысль эту все одобрили. Мы пробрались наверх. За молоком откомандировали, конечно, Наташу. Она принесла огромную кринку молока и целый ситный хлеб.

– Господа, извольте только все молоко выпить! – объявила она.

– Почему это?

– А то мама увидит, что не все выпили, и вперед будет меньше оставлять.

– Эге! На этом основании, значит, каждый раз придется все выпивать!

Однако через четверть часа кувшин был уже пуст. Теперь, когда шуметь было нельзя, всеми овладело веселье

неудержимое; каждое замечание, каждое слово приобретало необыкновенно смешное значение; все крепились, убеждали друг друга не смеяться, закусывали губы – и все-таки смеялись без конца... Мне с трудом удалось их выпроводить.

Однако засиделся же я! Солнце встало и косыми лучами скользит по кирпичной стене сарая, росистый сад полон стрекотаньем и чириканьем; старик Гаврила, с угрюмым, сонным лицом, запрягает в бочку лошадь, чтоб ехать за водою.

Спать!

21 июня

Проснулся я в начале двенадцатого и долго еще лежал в постели. В комнате полумрак, яркое полуденное солнце пробивается сквозь занавески и играет на стекле графина; тихо; снизу издали доносятся звуки рояля... Чувствуешь себя здоровым и бодрым, на душе так хорошо, хочется улыбаться всему. Право, вовсе не трудно быть счастливым!

Миша и Петя пришли звать меня купаться. Я оделся, мы наперегонки сбежали к реке. Небо – синее и горячее, солнце жжет; тенистый сад на горе, словно изнемогши от жары, неподвижно дремлет. Но вода еще свежа, она охватывает тело мягкой, нежною прохладою; плывешь, еле двигая руками и ногами, в этой прозрачно-зеленой, далеко вглубь освещенной солнцем воде. Мы купались около часа, пока не зазвонили к завтраку. Почти все уж были в сборе; на столе благо-

дать: пирог, варенец, рубцы, редиска, ветчина, свежие огурцы. Я опять сидел возле дяди, и он любезно сообщил мне несколько очень новых и интересных сведений; что гречневая каша – национальное русское блюдо, что есть даже поговорка: «Каша – мать наша», что немцы предпочитают пиво, а русские – водку, и т. п.

Вошла Наташа и села к столу.

– Что ж ты, Наташа, с Митею не здороваешься? – сказала Софья Алексеевна. – Ведь он с твоими «принципами» не знаком и может обидеться.

По губам Наташи скользнула быстрая усмешка; она протянула мне руку.

– У тебя какие же на этот счет «принципы»? – спросил я. Наташа засмеялась.

– Я, не знаю, о каких мама принципах говорит, – ответила она, садясь рядом со мною. – А только... Смотри: мы восемь часов назад виделись; если люди днем восемь часов не видятся, то ничего, а если они эти восемь часов спали, то нужно целоваться или руку пожимать. Ведь, правда, смешно?

– Ничего смешного нет, – поучающе возразила Софья Алексеевна. – Это известное условие между людьми, которое...

– Нам все смешно, нам все решительно смешно! – вдруг вскипятился дядя, враждебно глядя на Наташу. – Здраваться и прощаться – это предрассудок; вести себя, как прилично взрослой девушке, – предрассудок... А вот начитаться раз-

ных книжонок и без критики, без рассуждения поступать по ним – это не предрассудок! Это идейно и благородно.

Наташа с усмешкою наклонилась над своею чашкою и молчала. Видимо, между нею и отцом лежало что-то не раз уже вызывавшее их на столкновение.

После завтрака я узнал от Веры о положении дела. Последние два года Наташа усердно готовилась по древним языкам к аттестату зрелости, который, как передавали газеты, будет требоваться для поступления в проектируемый женский медицинский институт. Дядя был очень недоволен занятиями Наташи: двадцатитрехлетней Соне, по-видимому, уже нечего было рассчитывать на замужество; Наташа была живее и красивее сестры, и дядя надеялся хоть от нее дожидаться внучат. Между тем Наташа с головою ушла в своих классиков; она в Пожарске никуда не выезжала и даже не выходила к гостям, которые приглашались специально для нее. Чтобы совершенно избавиться от всех этих выездов и гостей, она прошлою осенью решила остаться на всю зиму в деревне. Произошла очень тяжелая сцена с дядей; под конец он объявил Наташе, что пусть она живет, где хочет, но пусть же и от него не ждет ни в чем уступки. Наташа всю зиму прожила в деревне; по утрам она набирала в залу деревенских ребят и девок, учила их грамоте, читала им; по вечерам зубрила греческую грамматику Григорьевского и переводила Гомера и Горация. Этою весною проект о женском медицинском институте был возвращен государственным сове-

том; решение вопроса отодвинулось на неопределенное время. Наташа решила ехать хоть на Рождественские курсы лекарских помощниц. Но для поступления туда требуется родительское разрешение. Когда Наташа заговорила с дядей о курсах, он желчно рассмеялся и сказал, что просьба Наташи его очень удивляет: как это она, «такая самостоятельная», снисходит до просьб! Наташа возразила, что просит она у него только разрешения, содержать же себя будет сама (у нее было накоплено с уроков около трехсот рублей). Дядя отказался наотрез. За Наташу вступился доктор Ликонский, отец Веры и Лиды, единственный человек, имеющий влияние на упрямого и ограниченного дядю; но и его убеждения ничего не могли поделать. Дядя решительно объявил, что боится отпустить Наташу с ее характером в Петербург.

26 июня

Может быть, это – лишь следствие того подъема жизненных сил, который обыкновенно замечается после благополучно перенесенного тифа, – что до того? Я знаю только, что я глубоко счастлив, счастлив *так*, без всякой причины... Ясные дни, теплые, душистые ночи, музыка Веры, – чего мне больше? Не замечаешь, идет ли время, или стоит. Никакие вопросы не мучают, на душе тихо и ясно. Я даже книг современных теперь не читаю: дед дяди был очень образованный человек и оставил после себя огромную библиотеку; теперь она свалена в верхней кладовой и служит пищею мы-

шам. Я целые часы провожу там, разбираю и привожу в порядок книги и бумаги. Мне нравится с головою уходить в эту давно исчезнувшую жизнь, где Вольтер уживался с жителями святых, Руссо – с крепостным правом, «Les liaisons dangereuses»³ – с Фомою Кемпинским, – жизнь жестокую, наивную, сладострастную и сентиментальную.

Наташа навела ко мне массу больных. Все в деревне ей знакомы, и все ей приятели. Она сопутствует мне в обходах, развешивает лекарства. Странное что-то в ее отношениях ко мне: Наташа словно все время изучает меня; она как будто не то ждет от меня чего-то, не то ищет, как самой подойти ко мне. Может быть, впрочем, я ошибаюсь. Но какие славные у нее глаза!

От разговоров ее веет чем-то старым-старым, но таким хорошим; она хочет знать, как я смотрю на общину, какое значение придаю сектантству, считаю ли возможным и желательным развитие в России капитализма. И в расспросах ее сказывается предположение, что я непременно должен интересоваться всем этим. Что же? Я ведь действительно интересуюсь; однако, правду говоря, разговоры эти мне крайне неприятны. Я с величайшим удовольствием прочту книгу, где дается что-нибудь новое по подобному вопросу, не прочь и поговорить о нем; но пусть для моего собеседника, как и для меня, вопрос этот будет холодным теоретическим вопросом, вроде вопросе о правильности теории фагоцитоза

³ «Опасные связи» (франц.)

или о вероятности гипотезы Альтмана. Наташа же вносит в дело слишком много страстности, и мне становится неловко. Я неохотно отвечаю ей и перевожу разговор на другое.

И еще в одном отношении я часто испытываю неловкость в разговоре с нею: Наташа знает, что я мог остаться при университете, имел возможность хорошо устроиться, – и вместо этого пошел в земские врачи. Она спрашивает меня о моей деятельности, об отношениях к мужикам, усматривая во всем этом глубокую идейную подкладку, в разговоре ее проскальзывают слова «долг народу», «дело», «идея». Мне же эти слова режут ухо, как визг стекла под острым шилом.

27 июня

Со станции привезли газеты. В Баку – холера. Она медленно, но непрерывно поднимается вверх по Волге.

28 июня

Писать, так уж все писать, хоть гадко и противно вспоминать. После завтрака мы с Верой, Соней и Наташей играли во дворе в крокет. Разговор случайно зашел о тургеневской Елене; Соня, перечитывавшая недавно «Накануне», назвала Елену «самым светлым и сильным образом русской женщины». Я напал на такую незаслуженно высокую оценку Елены. Елена – это разновидность типа очень старого: неопределенные порывания вдаль, игнорирование окружающего, искание чего-то эффектного, яркого, необычного, – в этом она

вся. Инсарова она полюбила не за то, что он указал ей дело, а просто потому, что он окружен ореолом, что он – «замечательный человек»; для нее Инсаров совершенно заслоняет собою то дело, которому он служит. Конечно, выбор Елены делает ей честь, но... право, полюбить, например, героя Гарибальди – «невелика штука», как выражается Шубин; невелика штука и умереть за *Италию* из любви к *Гарибальди*. Когда Инсаров опасно заболевает, Елена может найти утешение лишь в одной мысли: «если он умрет, – и меня не станет». Вне ее любви для нее ничего не существует, и понятно, что после смерти Инсарова она должна была поехать непременно в Болгарию... Нет, Елена вовсе не «самый светлый образ русской женщины». Неужели действительно все дело женщины заключается в том, чтобы отыскивать достойного ее любви мужчину-деятеля? Где же прямая потребность настоящего дела? Пусть это дело темно и невидно, пусть оно несет с собою одни лишения без конца, пусть на служение ему уходят молодость, счастье, здоровье, – что до того? Ведь это не забава и не фон для поэтического романа; это – тяжелый труд, красный лишь сознанием, что живешь не напрасно. И у нас много было и есть женщин, для которых это сознание дороже самых блестящих героев.

Уж тогда, когда я говорил, во мне шевельнулось отвращение к моему приподнятому тону; но меня подчинило себе то жадное внимание, с каким слушала Наташа. Она не спускала с меня радостно-недоумевающего взгляда, и столько в этом

взгляде было страха, что я оборву себя, по обыкновению замну разговор. Ну, вот, – я не остановился, не свел разговора на другое... О, мерзость!

И напрасно я стараюсь убедить себя, что говорил я искренно, что есть что-то болезненное в моей боязни к «высоким словам»: на душе скверно и стыдно, как будто я, из желания пустить пыль в глаза, нарядился в богатое чужое платье.

11 час. вечера

Весь вечер я просидел, наверху в кладовой, разбирая книги. Солнце опустилось в багровые тучи, и несколько раз принимался накрапывать дождь. Дядя за ужином был угрюм и молчалив: он собирался начать назавтра возку сена, а барометр неожиданно сильно упал; на Выконке сено не успели скопнить, и оно осталось на ночь в кругах. Окна были раскрыты, в темном саду тихо шумел дождь. Наташа тоже была молчалива. Я несколько раз ловил на себе ее внимательный и нерешительный, словно выжидающий взгляд. После ужина, когда я прощался с нею, она, протягивая руку, вдруг взглянула на меня и тихо проговорила:

– Митя, мне так много хочется у тебя спросить.

И я – я не спросил, что именно; я только серьезно кивнул головою и, не глядя на Наташу, ответил, что я всегда к ее услугам. Как будто я в самом деле не знаю, что она хочет спросить...

30 июня

Все время я провожу в кладовой за книгами. Небо обложено тучами, дождь моросит без конца; в мутной сырой дали тянутся черные пашни, мокрые галки кричат на крыше... Я напрасно стараюсь подавить в себе беспричинное, глухое раздражение, не оставляющее меня ни на минуту. Раздражает и надоедливый шум дождя по крыше, и эти ветхие окна, из щелей которых дует нестерпимо, и несущийся от книг противный запах мышей и прелой бумаги. Когда я вспоминаю о своем гаденьком вилянье перед Наташей, меня злость берет: уж два дня прошло; как мальчик, шалость которого открыта, я боюсь разговора с нею и стараюсь избегать ее. И Наташа сразу заметила это. Она держится в стороне, но глаза ее смотрят печально и недоумевающе. Бог ведь как объясняет она мое поведение. Сегодня утром я случайно встретился с нею в коридоре; она пугливо оглядела меня и молча прошла мимо.

Голова тяжела, в груди тупая, ноющая боль, и опять появился кашель...

1 июля

Я лег вчера спать еще до ужина. Сегодня проснулся рано. Отдернул занавески, раскрыл окно. Небо чистое и синее, солнце горячим светом заливает еще мокрый от дождя сад; на липах распустились первые цветки, и в свежем ветерке

слабо чувствуется их запах; все кругом весело поет и чирикает... На душе ни следа вчерашнего. Грудь глубоко дышит, хочется напряжения, мускульной работы, чувствуешь себя бодрым и крепким.

Я пошел в конюшню и оседлал Бесенка. Он застоялся, мне с трудом удалось сесть на него. Бесенок сердито ржал и, весь дрожа от нетерпения, рвался подо мною и вперед и в стороны. Я нарочно, чтоб побороться с ним, проехал тихим шагом деревенскую улицу и весь Большой луг. От седла пахло кожей, и этот запах мешался с запахом влажной луговой травы.

Проехав плотину, я свернул на Опасовскую дорогу и пустил Бесенка вскачь. Он словно сорвался и понесся вперед как бешеный. Безумное веселье овладевает при такой езде; трава по краям дороги сливалась в одноцветные полосы, захватывало дух, а я все подгонял Бесенка, и он мчался, словно убегая от смерти.

Слева над рожью затемнел Санинский лес; я придержал Бесенка и вскоре остановился совсем. Рожь без конца тянулась во все стороны, по ней медленно бежали золотистые волны. Кругом была тишина; только в синем небе звенели жаворонки. Бесенок, подняв голову и насторожив уши, стоял и внимательно вглядывался вдаль. Теплый ветер ровно дул мне в лицо, я не мог им надышаться...

Ясное небо, здоровье да воля, –
Здравствуй, раздолье широкого поля!..

Ласточка быстро пронеслась мимо ног лошади и вдруг, словно что вспомнив, взмахнула крылышками, издала мелодический звук и крутым полукругом вильнула обратно. Бесенок опустил голову и нетерпеливо переступил ногами. Я повернул на дорогу, вившуюся среди ржи по направлению к Санинскому лесу.

«Здоровье»... Здоров я не был, – я чувствовал, что грудь моя больна; но мне доставляло даже удовольствие это совершенно безболезненное ощущение гнездящейся во мне болезни, и весело было заглядывать ей прямо в лицо: да, у меня легкие усеяны тысячами тех предательских желтеньких бугорков, к которым я так пригляделся на вскрытиях, – а я вот еду и дышу полной грудью, и все у меня в душе смеется, и я не боюсь думать, что болен я – чахоткою...

Вспомнился мне профессор N., у которого я два года работал, – хмурый старик с грозными бровями и добрейшей душой; вспомнились мне его предостережения, когда я сообщил ему, что поступаю в земство.

– Да вы, батенька, знаете ли, что такое земская служба? – говорил он, сердито сверкая на меня глазами. – Туда идти, так прежде всего здоровьем нужно запастись бычачьим: промок под дождем, попал в полынью, – выбирайся да поезжай дальше: ничего! Ветром обдует и обсушит, на постоялом дворе выпьешь водочки, – и опять здоров. А вы посмотрите на себя, что у вас за грудь: выдуют ли вы хоть две-то тысячи

в спирометр? Ваше дело – клиника, лаборатория. Поедете, – в первый же год чахотку наживете.

Я знал, что все это правда, и тем не менее поехал же; я и под дождем мокнул и в полыньи проваливался, спеша в весеннюю распутицу к роженице, корчащейся в эclamптических судорогах. Когда ночные поты и утренний кашель навели меня на подозрение и я нашел в своей мокроте коховские палочки – именно сознание, что я добровольно шел на это, и не дало мне пасть духом. И вот теперь я стыжусь... чего? – стыжусь говорить, что нужно жить не для себя одного! Передо мною встало побледневшее личико Наташи с большими печальными глазами... Да неужели же я не имею права хоть настолько-то уважать себя, чтоб не бояться разговора с нею, не бояться того вопроса, с которым она хочет ко мне обратиться? А как я ее мучил!

Рожь кончилась, дорога вилась среди ореховых и дубовых кустов опушки и терялась в тенистой чаще леса. Меня отовсюду охватило свежим запахом дуба и лесной травы; высоко вверх взбегали кругом серые стволы осин, сквозь их жидкую листву нежно синело небо. Дорога была заброшенная и наполовину заросшая, ветви липовых и кленовых кустов низко наклонялись над нею; в траве виднелись оранжевые шляпки подосинников, ярко зеленела костяника; запах папоротником... Угомонившийся Бесенок шел щеголеватым шагом, изогнув красивую черную шею; вдруг он поднял голову и, взглянув вперед, громко заржал. На повороте до-

роги, в нескольких шагах от меня, показалась Наташа верхом на своем буланом Мальчике.

Увидев меня, она отшатнулась на седле и, нахмурившись, затянула поводья; лошадь прижала уши и, оседая на задние ноги, подалась назад.

– Наташа! ты каким образом здесь? – радостно крикнул я и поспешил ей навстречу. – Здравствуй, голубушка! – Я перегнулся с седла и крепко пожал ей руку.

Наташа слабо вспыхнула и оглядела меня быстрым, робким взглядом.

– Вот хорошо, что мы с тобою встретились! Если бы я знал, я бы нарочно именно сюда поехал. Посмотри, утро какое: едешь и не надышишься... Неужели ты уже домой? Поедем дальше, хочешь?...

Я говорил, а сам не отрывал глаз от ее милого, радостно-смущенного лица. Я видел, как она рада происшедшей во мне перемене и даже не старается скрыть этого, и мне неловко и стыдно было в душе, и хотелось яснее показать ей, как она мне дорога.

– Поедем, мне все равно, – в замешательстве ответила Наташа, поворачивая Мальчика.

– Ну, вот спасибо!.. И как это мы с тобою именно здесь съехались? Как хорошо, – правда? Голубушка, поедем куда-нибудь... Хочешь в Заклятую Лощину?

Я с трудом удерживал Бесенка, он косился и грозно ржал на шедшего бок о бок Мальчика. Дорога была узкая, мокрые

ветви осинок то и дело обдавали нас брызгами, и мы ехали совсем близко друг от друга.

– Я там была сейчас, – сказала Наташа, – ручей разлился и весь обратился в трясину; пробовала проехать, – нельзя.

Я взглянул на Наташу: она была там!.. Заклятая Лощина – это глухая трущоба, которая, говорят, кишит волками; ее и днем стараются обходить подальше. А эта девчурка едет туда одна ранним утром, так себе, для прогулки!.. Не знаю, настроение ли было такое, но в эту минуту меня все привлекало в Наташе: и ее свободная, красивая посадка на лошади, и сиявшее счастьем смущенное лицо, и вся, вся она, такая славная и простая.

– Ну, как хочешь, а я тебя сегодня не скоро пущу домой, – засмеялся я. – Попалась, так уж такая судьба твоя! Поедем хоть куда-нибудь.

Мы свернули на широкую дорогу, пересекавшую лес. Прямая как стрела, она бежала в зеленой, залитой солнцем просеке.

– Вот дорога, как раз для скачек, – сказал я и с улыбкой взглянул на Наташу.

Наташа встрепелась.

– А ну, давай опять перегоняться! – предложила она, поправляясь на седле. – Теперь наши лошади одинаково устали.

Мы как-то уж перегонялись с Наташей, и обогнала она; но я перед тем проехал на Бесенке десять верст.

– Ну, ну, посмотрим!

Мы пустили лошадей вскачь. Но только что они рассказали и мой Бесенок начал наддавать, все больше опережая Мальчика, как явилось довольно неожиданное препятствие. На краю дороги бродили в кустах два больших поросенка, безмятежно взрывая рылами землю. Завидев нас, они испуганно шарахнулись из кустов, хрюкнули и пустились улепетывать по дороге. Мы ждали, конечно, что они сейчас свернут вбок, и скакали по-прежнему; но поросята неуклюже всё мчались перед нами, всхрюкивая и отчаянно махая коротенькими, тонкими хвостиками.

– Они теперь все время так бежать будут, ни за что не свернут! – крикнула Наташа, смеясь.

Мы стали задерживать разогнавшихся лошадей. Поросята побежали медленнее, взволнованно хрюкая и трясь боками друг о друга.

Мы попытались осторожно объехать их; поросята взвизгнули и опять как угорелые бросились вперед. Мы переглянулись и расхохотались.

– Вот так задача! – сказал я.

Наташа сдерживала, смеясь, рвавшегося вперед Мальчика. Теперь последняя неловкость между нами исчезла, Наташа оживилась, и было неудержимо весело.

– Ничего, все равно поедем! – сказала Наташа. – Это Дениса свиньи, лесника; их и без того следовало пригнать домой; вон куда они забрели, их еще волки съедят! Поедем к

Денису, он нас молоком напоит. Его сторожка сейчас там, на полянке.

Мы поехали шагом, предшествуемые поросятами.

– Ты еще не видел этого Дениса, он всего два года здесь лесником. Такой потешный старичок, – маленький, худенький... Как-то, когда он только что поступил, мама случайно заехала сюда; увидала его: «Голубчик мой, да что же ты за сторож? Ведь тебя всякий обидит!» А он отвечает: «Ничего, барыня, меня не найдут...»

Никогда еще я не видел Наташу такую: ее лицо так и дышало детской, беззаветною радостью... Я не мог оторвать от нее глаз.

Лесная сторожка стояла в глубине широкой, недавно выкошенной поляны. Денис, в белой холщовой рубаше и лаптях, вышел нам навстречу.

– Денис, голубчик, здравствуй! К тебе мы! – сказала Наташа, соскакивая с лошади.

– А-а, барышня касаткинская, – воскликнул Денис, шурясь. – Просим милости, пожалуйста. – Сунув шапку под мышку, он взял за повод наших лошадей.

– Голубчик, надень шапку!.. И привяжем мы сами... А уж если хочешь быть другом, напои нас молочком... Едем мы сюда, – вот он и говорит: «Не даст нам Денис молока!» Кто, я говорю, Денис-то не даст?

– Господи! Да неужто ж мы какие-нибудь? Слава богу, найдется молочко, будьте покойны. Пожалуйста в горницу.

Девка-то моя на деревню побежала, так уж сам услужу вам.

Было в Денисе что-то чрезвычайно комичное: он то и дело самым степенным образом гладил свою жидкую бородавку, серьезно хмурил брови, и все-таки ни следа степенности не было в его сморщенном в кулачок личике и всей его миниатюрной фигурке; получалось впечатление, будто маленький ребенок старается изобразить из себя почтенного, рассудительного старичка.

Мы вошли в избу. Денис поставил перед нами две чашки и кринку парного молока, нарезал ситнику. Наташа следила за ним радостно-смеющимися глазами и болтала без умолку.

– А чтой-то я вот барина этого раньше не видал никогда? – сказал Денис. – Смотрю, смотрю, – нет, чтой-то словно...

– Он недавно только приехал...

Денис поглядел на Наташу.

– Они, что же, барышня, – уж не обессудьте на вопросе, – не женишком ли вам приходится?

– Ну да же, конечно, женихом!

– То-то я все смотрю... Чтой-то, думаю, – с чего такая радость?

– Да как же, Денис, не радоваться? Ведь сам знаешь, в нынешние времена жениха найти – дело нелегкое. Не найдешь их нигде, словно вымерли все.

Денис развел руками.

– Да ведь... О том и толк, барышня! Куда, мол, подевались все? Неизвестно!

– Вот-вот. Ну, а я вот нашла себе.

– Ну, дай вам бог счастливо!.. Они, что же, по акцизной части служат?

Наташа расхохоталась.

– Голубчик Денис, да почему же ты думаешь, что именно по акцизной?!

– Ну, ну, господь с тобой, матушка... Хе-хе-хе! – рассмеялся и Денис, глядя на нее.

Узнав, что я доктор, он придал своему лицу страдальческое выражение и стал сообщать мне о своих многочисленных болезнях.

Мы просидели у него с полчаса. Попытался я ему заплатить за молоко, но Денис обиделся и отказался наотрез.

От него мы поехали на Гремучие колодцы, оттуда в Богучаровскую рощу. В Богучарове, у земского врача Троицкого, пили чай... Домой воротились мы только к обеду.

2 июля, 10 час. утра

Перечитал я написанное вчера... Меня опьянили яркое утро, запах леса, это радостное, молодое лицо; я смотрел вчера на Наташу и думал: так будет выглядеть она, когда полюбит. Тут была теперь не любовь, тут было нечто другое; но мне не хотелось об этом думать, мне только хотелось, чтоб подольше на меня смотрели так эти сиявшие счастьем глаза. Теперь мне досадно, и злость берет: к чему все это было? Я одного лишь хочу здесь, – отдохнуть, ни о чем не думать. А

Наташа стоит передо мною, – верящая, ожидающая.

11 час. вечера

Ну, произошел наконец разговор... После ужина Вера с Лидой играли в четыре руки какой-то испанский танец Сарасате. Я сидел в гостиной, потом вышел на балкон. Наташа стояла, прислонясь к решетке, и смотрела в сад. Ночь была безлунная и звездная, из темной чащи несло росой. Я остановился в дверях и закурил папиросу.

Наташа обернулась на свет спички.

– Ах, это ты, Митя! – тихо сказала она, выпрямляясь. – Хочешь, пойдем в сад?... Посмотри, как... хорошо...

Голос ее обрывался, и она взволнованно теребила кружево на своем рукаве.

Мы спустились в цветник и пошли по аллее.

– Помнишь, Митя, – вдруг решительно заговорила Наташа, – помнишь, ты говорил недавно о сознании, что живешь не напрасно, – что это самое главное в жизни... Я и прежде, до тебя, много думала об этом... Ведь это ужасно – жить и ничего не видеть впереди: кому ты нужна? Ведь это сознание, о котором ты говорил, – ведь это самое большое счастье...

Я молча шел, кусая губы. В душе у меня поднималось злобное, враждебное чувство к Наташе; должна же бы она наконец понять, что для меня этот разговор тяжел и неприятен, что его бесполезно затевать; должна бы она хоть немно-

го пожалеть меня. И меня еще больше настраивало против нее, что мне приходится ждать сожаления и пощады от этого почти ребенка. Наташа замолчала.

– Я слышал, что ты прошлую зиму занималась здесь с деревенскими ребятами, – проговорил я. – Ну, как ты, с охотой занималась, нравится тебе это дело?

– Д-да, – сказала Наташа, запнувшись.

– Ну, вот и дело. Если хочешь совершенно отдаться ему, поступи в сельские учительницы. Тогда ты будешь близко стоять к народу, можешь сойтись с ним, влиять на него...

Я говорил, как плохой актер говорит заученный монолог, и мерзко было на душе... Мне вдруг пришла в голову мысль: а что бы я сказал ей, если бы не было этой спасительной сельской учительницы, альфы и омеги «настоящего» дела?

Наташа шла, опустив голову.

– Голубушка, это дело мелко, что говорить, – сказал я, помолчав. – Но где теперь блестящие, великие дела? Да не по ним и узнается человек. Это дело мелко, но оно дает великие результаты.

Я почти физически страдал: как все фальшиво и фразисто! Мне казалось, теперь Наташа видит меня насквозь; и казалось мне еще, что и сам я только теперь увидел себя в настоящем свете, увидел, какая безнадежная пустота во мне...

– Вот это прелестно! – раздался в темноте голос Веры. – Мы с Лидой играем для них, стараемся, а они себе ушли и гуляют здесь! Стоит вам играть после этого! Никогда не ста-

ну больше!

Вера, Лида и Соня подошли к нам. Я был рад, что кончился разговор.

3 июля

Привезли газеты. На меня вдруг пахнуло совсем из другого мира. Холера расходуется все шире, как степной пожар, и захватывает одну губернию за другою; люди в стихийном ужасе бегут от нее, в народе ходят зловещие слухи. А наши медики дружно и весело идут в самый огонь навстречу грозной гостье. Столько силы чувствуется, столько молодости и отваги. Хорошо становится на душе... Завтра я уезжаю в Пожарск.

4 июля

Я в Пожарске. Приехал я на лошадях вместе с Наташею, которой нужно сделать в городе какие-то покупки. Мы остановились у Николая Ивановича Ликонского, отца Веры и Лиды. Он врач и имеет в городе обширную практику. Теперь, летом, он живет совсем один в своем большом доме; жена его с младшими детьми гостит тоже где-то в деревне. Николай Иванович – славный старик с интеллигентным лицом и до сих пор интересуется наукой; каждую свободную минуту он проводит в своей лаборатории.

Приехали мы вечером, к ужину. Я расспрашивал Николая Ивановича о холере. Она серпом окружила нашу губер-

нию, и кое-где были уже единичные случаи заболевания. В самом Пожарске во врачах не нуждаются, но в уездах недостаток; в уездном городе Слесарске не могут найти врача для зареченской стороны, Чемеровки, заселенной мастеровщиной. Завтра пошлю туда заявление.

5 июля. Воскресенье

На заборах и фонарных столбах расклеены объявления, приглашающие жителей города Пожарска принять участие в имеющем произойти сегодня в соборе «молебствии об избавлении от болезни, называемой холерой, за коим последует торжественный крестный ход по всему городу». Я был на молебне. На улицах словно все вымерло; огромная соборная площадь была покрыта несметной толпой; пробраться в самый собор нечего было и думать. Ласточки со звоном кружили вокруг колоколен; солнце играло на золоте прислоненных к стенам хоругвей; из церкви чуть слышно доносилось пение. Я стоял и смотрел на толпу. Может быть, вот эта бледная красивая девушка, так благоговейно-гордо держащая образ тихвинской божией матери, этот маленький человечек с курчавою головою и в пиджаке, этот нищий, – всех их через неделю свалит холера.

Кругом говорили о недавней смерти местного архиерея, о том, по каким улицам пойдет ход; о самом предмете молебна – ни слова; разве только какой-нибудь веселый мастеровой подмигнет соседу на проходящую дряхлую старушонку

с трясущеюся головою и сострит:

– Собрались холеру отмаливать, а холера вон она идет!

Слоняясь в толпе, я столкнулся с Виктором Сергеевичем Гастевым. Он служит акцизным в Слесарске и приехал в Пожарск на какой-то акцизный съезд. Разговорились. Я ему сообщил, что послал заявление к ним в Слесарск.

Он вытаращил на меня глаза.

– В Слесарск? Ну, батенька, посылайте телеграмму, что отказываетесь.

– С какой стати?

– Да не слышали вы, что ли, что такое мастеровщина наша зареченская? Укокошат вас там через три дня, и оглядеться не дадут.

– Разве так народ возбужден?

Виктор Сергеевич вскинул плечами и молча стал закуривать сигару. Потом, таинственно подняв брови, наклонился ко мне и зашептал:

– Туда бы, батенька, теперь полк солдат впору поставить, да на руки им боевые патроны раздать, чтоб каждую минуту были готовы к делу. А у нас, ведь знаете, как делается: пока гром не грянет, никто не перекрестится; а там и пойдут телеграммами губернатора бомбардировать: «Войска давайте!» И холеры-то пока, слава богу, у нас нет никакой, а посмотрите, какие уже слухи ходят: пьяных, говорят, таскают в больницы и там заливают известкой, колодцы в городе все отравлены, и доктора, только один чистый оставили – для се-

бя; многие уже своими глазами видели, как здоровых людей среди бела дня захватывали крючьями и увозили в больницу. Они и не скрывают ничего, прямо говорят: если у нас холера объявится, мы всех докторов перебьем. Шутки, батюшка мой, плохие! До чего ж вам лучше? Из местных врачей в Чемеровку никто не хочет идти.

На паперти показались священники в золотых ризах; пение вдруг стало громче. Народ заволновался и закрестился, над головами заколыхались хоругви. Облезлая собачонка, отчаянно визжа, промчалась на трех ногах среди толпы; всякий, мимо которого она бежала, считал долгом пихнуть ее сапогом; собачонка катилась в сторону, поднималась и с визгом мчалась дальше. Ход потянулся к кремлевским воротам.

– Ну, пойдем и мы следом! – сказал Виктор Сергеевич. – А как у вас там все в деревне поживают? Через недельку поеду в отпуск в Смоленск, заеду к вам крестницу свою проведать. (Он крестный отец Сони.)

Прощаясь, Виктор Сергеевич еще раз настоятельно посоветовал мне заблаговременно взять свое заявление назад.

6 июля

Я воротился в Касаткино, так как, может быть, придется ждать больше недели.

Вчера вечером, перед отъездом из Пожарска, мы пили у Николая Ивановича чай. Наташа разливала. Николай Ивано-

вич рассказывал мне о своих исследованиях над вопросом об обмене веществ у подагриков. Вошла горничная и доложила ему, что его хочет видеть «один человек».

– Чего ему? Скажи, чтоб сюда вошел! – сказал Николай Иванович.

В дверях залы показался высокий человек в мещанском пиджачке и стоптанных сапогах. Он поклонился и смиренно остановился у порога.

– Что тебе, братец? – спросил Николай Иванович.

– Вот карточка вам от Владимира Владимировича.

Николай Иванович пробежал несколько строк, написанных на оборотной стороне визитной карточки, слегка покраснел и нахмурился.

– Ах, виноват! Очень приятно познакомиться! – И он протянул вошедшему руку. – Пожалуйста, садитесь! Не хотите ли чаю? Господин Гаврилов! – отрекомендовал он его нам.

На тонких губах вошедшего мелькнула чуть заметная усмешка. Он поклонился и так же смиренно сел к столу на кончик стула. Это был худощавый человек лет тридцати пяти, с жиденькой бородкой и остриженный в скобку; выглядел он мелким торгашом-краснорядцем или прасолом, но лоб у него был интеллигентный.

Николай Иванович еще раз прочел карточку и спросил:

– Вы чего же, собственно, хотите?

– В этом году, как вы изволите знать, – начал Гаврилов с тою же чуть заметною усмешкою, – Россию посетил го-

лод, какого давно уже не бывало. Народ питается глиной и соломою, сотнями мрет от цинги и голодного тифа. Общество, живущее трудом этого народа, показало, как вам известно, свою полную нравственную несостоятельность. Даже при этом всенародном бедствии оно не сумело возвыситься до идеи, не сумело слиться с народом и прийти к нему на помощь, как брат к брату. Оно отделялось пустяками, чтоб только усыпить свою совесть: танцевало в пользу умирающих, объедалось в пользу голодных, жертвовало каких-нибудь полпроцента с жалованья. Да и эти крохи оно давало народу, как подачку, и только развращало его, потому что всякая милостыня есть разврат. В настоящее время народ еще не оправился от беды, во многих губерниях вторичный неурожай, а идет новая, еще худшая беда – холера...

Николай Иванович слушал, забрав в горсть свою длинную седую бороду, и смотрел в окно.

– Общество, разумеется, по-прежнему остается достойным себя, – продолжал Гаврилов. – В этой новой беде, которая грозит уж и ему самому, оно забыло обо всем и бежит спасаться, куда попало. В народе остались только медики, а этого слишком мало. Народ нуждается в материальной помощи, а еще больше в духовной. Ни того, ни другого нет.

Николай Иванович положил голову на руку и стал смотреть на кончик своего сапога.

– Общество должно наконец прийти в себя. Оно всем обязано народу и ничего не отдает ему. «Другие трудились, а вы

вошли в труд их», – говорит Иисус...

– Извините, пожалуйста, – прервал его Николай Иванович. – Я вот все слушаю вас... и мне все-таки неясно, чего вы, собственно, от меня желаете?

– Я обратился к вам потому, что мне Владимир Владимирович сказал, что вы хороший человек. В настоящее время на таких только людей и надежда.

– Вы хотите, чтоб я... пожертвовал в пользу голодающих? – медленно спросил Николай Иванович, подняв брови.

– Нам нужны ваше сердце, ваш ум, – сказал Гаврилов, чуть улыбнувшись на небрежный вопрос Николая Ивановича. – Деньги – это последнее; *только* деньги нам не нужны. И, во всяком случае, я пришел просить у вас не денег.

– А чего же-с?

– Вашего нравственного содействия, активной работы в пользу несчастных.

– Вот как!.. Однако работа-то работой, а ведь, согласитесь, – прежде всего для этого все-таки нужны деньги.

– Миром управляют идеи, а не деньги. *Прежде всего* нужна любовь.

– Ну, а после неё – деньги? Ведь за хлеб купцу нужно заплатить деньгами, а не любовью.

– За деньгами дело не станет, их всегда легко собрать. То и горе у нас, что от всякого дела люди откупаются деньгами.

– Вы думаете? Ну, так я вам вот что скажу: у меня тут три четверти города знакомых, а я много собрать не возьмусь.

Гаврилов пожал плечами.

– Странно! Я здесь никого не знаю, всего только три дня назад приехал, а берусь вам собрать в месяц пятьсот рублей.

– Ну, исполать вам!.. – засмеялся Николай Иванович. – Я расскажу вам один случай. Был у нас тут в городе студент-юрист; кончает курс, а средств никаких; выгоняют за невзнос платы. Ну, вот я и вздумал устроить сбор. Заезжаю, между прочим, в одну богатую купеческую семью, в которой состою врачом около пятнадцати лет. Барышни сидят – в брильянтах, в кружевах. Говорю им. Они поморщились. «Посмотрим, говорят, может быть, что-нибудь найдем». Я к брату их: «Там с ними не сговоришься; вы, Платон Степаныч, энергичный человек – возьмитесь за дело как следует, ведь сами понимаете, нужно помочь!» И знаете, какой из этого вышел результат?

– Какой же вышел результат?

– Ну, какой вы думаете?

– Ну-с?

– С тех пор меня перестали приглашать в этот дом! – отрезал Николай Иванович и стал закуривать папиросу.

Гаврилов внимательно посмотрел на него.

– Зачем вы лечите таких? – спросил он, чуть дрогнув бровью.

Николай Иванович запнулся от неожиданности вопроса и пожал плечами.

– Странное дело! Врач обязан лечить всякого.

Гаврилов продолжал лукаво смотреть на него и беззвучно смеялся.

– Какого же рода «активной работы» желаете вы от меня? – спросил Николай Иванович, нахмурившись. – Прикажете идти в деревню, в народ?

– Народ не только в деревне, а и в городах, везде, – и везде он нуждается в помощи. Нужно только одно, чтоб не господа благодетельствовали мужичью, а братья помогали братьям. Когда погорелец приходит к мужику, мужик сажает его за стол, кормит обедом и дает копейку, – погорелец знает, что он – товарищ, потерпевший несчастье. Когда погорелец приходит к барину, барин высылает ему через горничную пятак, – погорелец – нищий и получает милостыню. А милостыня есть худший из всех развратов, потому что она одинаково деморализует и дающего и берущего. Господа съезжаются с разных концов города и с увлечением спорят о шансах Гладстона на избирательную победу или об исполнимости проектов Генри Джорджа; а тут же в подвале идет не менее ожесточенный спор о том, какая божья мать добрее – ахтырская или казанская, и на скольких китах стоит земля. Это – два различных мира, не имеющих между собою ничего общего...

Николай Иванович нетерпеливо закачал ногою. Гаврилов со смиренной улыбкою спросил:

– Извините, может быть, я вам наскучил?

– Нет, что же-с? Сделайте одолжение. Но только... Я вот

все время очень внимательно слушаю вас и все-таки никак не могу понять, что же я... обязан делать.

– Ближе стать к братьям, больше ничего; помогать им, а не благодетельствовать, не беречь для себя знаний, которые должны быть достоянием всех...

– Да-с? – выжидательно сказал Николай Иванович.

– Приближается холера. Народ голодает, – это лучшая почва для нее; народ невежествен, – и это отнимает у него последние средства защиты.

Пора. Пора же сознать, что, когда люди кругом умирают, стыдно роскошествовать. (Гаврилов беглым взглядом оглядел стол с стоявшими на нем закусками.) Я всего три дня здесь, но уж видел прямо ужасающие картины нищеты, – нищеты стыдливой и робкой, боящейся просить. Люди десятками ютятся в зловонных конурах, а мы занимаем по пяти-шести комнат; люди рады, если раздобудутся к обеду парюю картофелин, а мы наедаемся так, что не можем шевельнуться. И если такие люди приходят к нам, мы смотрим на них не со стыдом, а с пренебрежением и не пускаем их дальше передней. Выход только один: сознать, что *нечестный человек* тот, кто не хочет понять этого, братски разделить с обиженными свой дом, стол, все; доказать, что мы действительно хотим помочь, а не убаюкивать только свою совесть.

– Если я вас понял, – проговорил Николай Иванович, сдерживая под усами улыбку, – вы мне предлагаете пригласить к себе в дом три-четыре нищих семьи, поселить их

здесь, кормить, поить и обучать... Так?

– Да-с! – ответил Гаврилов, и по губам его снова пробежала чуть заметная усмешка.

Николай Иванович с любопытством смотрел на своего гостя. Наташа, подперев рукою подбородок и нахмурившись, также не спускала глаз с Гаврилова.

– Ну, скажите, господин Гаврилов, – увещевающим тоном заговорил Николай Иванович, – неужели же вам не стыдно говорить такой вздор?

– Почему вы полагаете, что это вздор? – спросил Гаврилов с своею быстрою усмешкою, нисколько не обидевшись.

– Мне бы еще было понятно ваше предложение, если бы дело шло просто о какой-нибудь определенной семье, которой нужна помощь. Но вы, насколько я вас понимаю, видите во всем этом прямо какое-то универсальное средство.

– Если вы один так поступите, то этого, разумеется, будет мало. Но важна идея, пример. Вы – один из наиболее уважаемых людей в городе; ваш почин сначала, может быть, вызовет недоумение, но затем найдет подражателей. Потому и не удастся у нас ничего, что все руководствуется лживою, но очень удобною пословицею: «Один в поле не воин».

– Д-да, картина, во всяком случае, довольно умилительная: мы работаем, выбиваясь из сил, втрое больше прежнего, а «братья» – постояльцы бьют себе баклуши на готовых хлебах... Воображаю, какую массу «братьев» мы расплодим по городу!

– Они вообще не должны бить баклуши, они должны работать. Дайте им работу.

– Где мне ее прикажете взять?

– Работа всегда найдется. Пусть они чистят у вас сад, подметают двор, колют дрова. Они сами будут рады.

Николай Иванович с усмешкою махнул рукою.

– Ну, хорошо! Допустим, что все это легко исполнимо, что им найдется работа, что они сами будут рады; допустим, что этим путем мы в состоянии обновить мир. Но что прикажете в таком случае делать всем с собственными семьями? – И он в комическом недоумении развел руками.

– Семьи можно бы в настоящее время и не иметь, – сказал Гаврилов, понизив голос.

Николай Иванович быстро поднял голову и пристально посмотрел на Гаврилова.

– А-а! – расхохотался он, вставая. – Теперь, батенька, я вас узнал. Эхо – известная Zweikindersystem⁴ или, еще лучше, «Крейцера соната»! Только, батюшка, вы немножко опоздали: уже и в Западной Европе давно доказана вздорность всего этого. Вы – толстовец!

Гаврилов чуть заметно улыбнулся.

– Я не слышал, что «все это» давно было опровергнуто в Западной Европе, а Zweikindersystem тут ни при чем. Это – старая истина, которая *не может* быть опровергнутой. «Я пришел разделить человека с отцом его и дочь с матерью ее.

⁴ Теория, по которой в семье должно быть не более двух детей (нем.)

И враги человека – домашние его», – сказал Иисус...

Николай Иванович резко прервал его:

– Извините, пожалуйста! Я не знаю, что это за Иисус, я знаю только Иисуса Христа.

– Виноват! – почтительно ответил Гаврилов. – Я хочу сказать, что в настоящее время, когда все общество построено на крайне ненормальных отношениях, явления, сами по себе нормальные, становятся противоестественными и греховными. На человеке лежит слишком много обязанностей, чтоб он мог позволить себе иметь семью.

Гаврилов стал говорить о ненормальности строя теперешнего общества, о разделении труда и проистекающих отсюда бедствиях, об аристократизме науки и искусства, о церкви, о государстве. Говорил он, подняв голову и блестя глазами, голосом проповедника-фанатика. Николай Иванович слабо зевнул и вынул часы.

– Господа, однако, уж восьмой час! – обратился он к нам. – Нужно велеть подавать лошадей, а то вам придется ехать совсем в темноте.

Гаврилов поднялся с места.

– Я, кажется, слишком долго засиделся, – сказал он со смущенной улыбкой. – Извините меня. Честь имею кланяться. Так на вас, значит, мы рассчитывать не можем?

– Мы? – переспросил Николай Иванович и поднял брови. – У вас что же, партия целая есть?

– Да, «партия» людей, которые думают, что общее благо

должно ставить выше личного.

Когда Гаврилов ушел, Николай Иванович облегченно вздохнул.

– Господи боже ты мой! – воскликнул он, оглядывая нас. – Сколько чуши можно наговорить в какие-нибудь короткие полчаса!

Наташа сумрачно взглянула на него и молча наклонилась над чашкой. Мне было неловко: правда, нелепостей было сказано достаточно, но... мне вдруг глубоко антипатичен стал Николай Иванович, и я не думал раньше, чтоб он был таким мещанином.

Подали лошадей. Мы простились и уехали. Город остался назади. Мы долго молчали.

– Да, этот человек по крайней мере знает, чего хочет, и верит в это, – сказал я наконец.

Наташа быстро подняла голову, взглянула на меня и снова начала смотреть на тянувшиеся по сторонам поля.

– И все-таки он лучше всех, которые там были, – процедила она сквозь зубы, с злым, угрюмым выражением на лице.

Всю остальную дорогу мы лишь изредка перекидывались незначущими замечаниями. Наташа упорно смотрела в сторону, и с ее нахмуренного лица не сходило это злое, жесткое выражение. Мне тоже не хотелось говорить. Солнце село, теплый вечер спускался на поля; на горизонте вспыхивали зарницы. Тоскливо было на сердце.

7 июля

Довольно было этой случайной встречи, чтобы все так долго создаваемое душевное спокойствие разлетелось прахом, – и вот я опять не знаю, куда деваться от тоски. Мне вспоминается страстная речь этого человека, вспоминается жадное внимание, с каким его слушала Наташа; я вижу, как карикатурно-убога, убога его программа, и все-таки чувствую себя перед ним таким маленьким и жалким. И передо мною опять встает вопрос: ну, а *я-то, чем же я живу?*

Время идет, – день за днем, год за годом... Что же, так всегда и жить, – жить, боясь заглянуть в себя, боясь прямого ответа на вопрос? Ведь у меня *ничего* нет. К чему мне мое честное и гордое мирозерцание, что оно мне дает? Оно уже давно мертво; это не любимая женщина, с которой я живу одной жизнью, это лишь ее труп; и я страстно обнимаю этот прекрасный труп и не могу, не хочу верить, что он нем и безжизненно-холоден; однако обмануть себя я не в состоянии. Но почему же, почему нет в нем жизни?

Не потому ли, что все мое внутреннее содержание – лишь красивые слова, в которые я сам не верю? Но разве же можно бояться слов больше, чем я боюсь, разве можно больше верить, чем я верю? И я не «лишний человек». Я ненавижу чувствую ко всем этим тунеядцам, начиная с темного Чулкатурина⁵ и кончая блестящим Плошовским,⁶ я не могу про-

⁵ «Дневник лишнего человека», Тургенева. (Прим. В. Вересаева.)

⁶ «Без догмата», Сенкевича. (Прим. В. Вересаева.)

стить нашей чуткой славянской литературе, что она благоуханными цветами поэзии увенчала людей, заслуживающих лишь сатирического бича. Меня не пугает нужда, не пугает труд; я с радостью пойду на жертву; я работаю упорно, не глядя по сторонам и живя душою только в этом труде. И все-таки... все-таки мне постоянно приходится повторять себе это, и я ношусь со своею чахоткою, как молодой чиновник с первым орденом. Пусто и мертво в сердце; кругом посмотришь, – жизнь молчит, как могила.

8 июля

Сегодня после ужина Вера с Лидой играли в четыре руки Пятую симфонию Бетховена. Страшная эта музыка: глубоко-тоскующие звуки растут, перебивают друг друга и обрываются, рыдай; столько тяжелого отчаяния в них. Я слушал и думал о себе.

Наташа стояла на балконе, облокотясь о решетку, и неподвижно смотрела в темный сад. Да, и ей нелегко... В речах этого Гаврилова на нее пахнуло из другого мира, далекого и светлого, – мира, в котором нет сомнений, в котором все живо и сильно. Но где путь туда? Я смотрел на Наташу, и у меня сжималось сердце: как грустно опущена ее голова, сколько затаенного страдания во всей ее фигуре... Почему так дорога стала мне эта девушка? Мне хотелось подойти к ней и крепко пожать ей руку. Но что я скажу ей, и на что ей мое сожаление? Она его отвергнет.

А звуки по-прежнему горько плакали. Чище и глубже становилось от них горе. И мне казалось: я найду, что сказать...

Я вышел на балкон. Недавно был дождь, во влажном саду стояла тишина, и крепко пахло душистым тополем; меж вершин елей светился заходящий месяц, над ним тянулись темные тучи с серебристыми краями; наверху сквозь белеватые облака мигали редкие звезды.

– Хочешь, Наташа, на лодке ехать? – спросил я, помолчав.

Наташа очнулась и оглядела меня недоумевающим, отчужденным взглядом.

– Пойдем, – сказала она.

Мы спустились по влажной тропинке к реке.

– Как река прибыла! – тихо сказала Наташа, видимо, чтоб только сказать что-нибудь.

– Да. И посмотри, какая тишина кругом: голосов ночи совсем нет. Это так всегда после дождя.

– А ну! – Наташа остановилась и стала слушать. Потом пошла дальше. Теперь я видел, что обманул себя: я не знал, как начать и о чем говорить.

Мы сели в лодку и отплыли. Месяц скрылся за тучами, стало темней; в лощинке за дубками болезненно и прерывисто закричала цапля, словно ее душили. Мы долго плыли молча. Наташа сидела, по-прежнему опустив голову. Из-за темных деревьев показался фасад дома; окна были ярко освещены, и торжествующая музыка разливалась над молчаливым садом; это была последняя, заключительная часть

симфонии, – победа верящей в себя жизни над смертью, торжество правды и красоты и счастья бесконечного.

Наташа вдруг подняла голову.

– Митя! Помнишь, мы раз с тобою шли по саду, я тебя спрашивала, что мне делать? Ты говорил тогда про сельскую учительницу. Скажи мне правду: ты верил в то, что говорил?

Я несколько времени молчал; я не ожидал, что она так прямо, ребром, поставит вопрос.

– Что тебе сказать на это? – ответил я наконец. – Верил ли я? Да, Наташа, я верил. Но... Ты хочешь правды. Я видел, как ты смотрела на меня, когда я сюда приехал, видел, что ты чего-то ждала от меня. Меня это очень мучило, но что я мог сделать? Ты от *меня* ожидала разрешения своих вопросов! Голубушка, ты ошиблась. Рассказывать ли тебе, как я прожил эти три года? Я только обманывал себя «делом»; в душе все время какой-то настойчивый голос твердил, что это не то, что есть что-то гораздо более важное и необходимое; но где оно? Я потерял надежду найти. Боже мой, как это тяжело! Жить – и ничего не видеть впереди; блуждать в темноте, горько упрекать себя за то, что нет у тебя сильного ума, который бы вывел на дорогу, – как будто ты в этом виноват. А между тем идет время...

Есть силы, – боже, гибнут силы!

Есть пламень честный, – гаснет он!

Ты подозреваешь, что я сам не верю... Не верю? Наташа, голубушка, я верю, всею силою души верю, – это ты ошибаешься. Люби ближнего твоего, как самого себя, – нет больше этой заповеди. Если бы ее не было, мне страшно, что бы было со мною. И ты поверишь, что я не фразы говорю. Но тебе нужно другое. Жить для других, работать для других... Все это слишком общо. Ты хочешь идеи, которая бы наполнила всю жизнь, которая бы захватила целиком и упорно вела к определенной цели; ты хочешь, чтоб я вручил тебе знамя и сказал: «Вот тебе знамя, – борись и умирай за него»... Я больше тебя читал, больше видел жизнь, но со мною то же, что с тобой: *я не знаю!* – в этом вся мука.

Наташа сидела, подперев подбородок рукою, и сумрачно слушала. Как не похожа была она теперь на ту Наташу, которая две недели назад, в этой же лодке с жадным вниманием слушала мои рассказы о службе в земстве! И чего бы я ни дал, чтобы эти глаза взглянули на меня с прежнею ласкою. Но тогда она ждала от меня того, что дает жизнь, а теперь я говорил о смерти, о смерти самой страшной, – смерти духа. И позор мне, что я не остановился, что я продолжал говорить.

Я говорил ей, что я не один такой: что все теперешнее поколение переживает то же, что я: у него *ничего* нет, – в этом его ужас и проклятие. Без дороги, без путеводной звезды, оно гибнет невидно и бесповоротно... Пусть она посмотрит на, теперешнюю литературу, – разве это не литература

мертвецов, от которых ничего уже нельзя ждать? Безвременье придавило всех, и напрасны отчаянные попытки выбиться из-под его власти.

Наташа все время не выронила ни слова. Она взялась за руль и повернула лодку. Назад мы плыли молча. Месяц закатился, черные тучи ползли по небу; было темно и сыро; деревья сада глухо шумели. Мы подплыли к купальне. Я вышел на мостки и стал привязывать цепь лодки к столбу. Наташа неподвижно остановилась на носу.

– Я все-таки думаю, что ты ошибаешься, – тихо сказала она, глядя вдоль реки, тускло сверкавшей в темноте. – Неужели правда необходимо быть таким рабом времени? Мне кажется, что ты перенес на всех то, что сам переживаешь.

Я с усмешкой пожал плечом.

– Дай бог!

Я вышел на берег. Наташа по-прежнему неподвижно стояла в лодке.

– Ты еще не пойдешь домой?

– Нет, – коротко ответила она.

Я стал подниматься по крутой, скользкой тропинке. Когда я был уже в саду, я услышал внизу, по реке, ровный стук весел: Наташа снова поехала на лодке.

И вот уже час прошел, а я все сижу у стола, – без мысли, без движения, в голове пустота. На дворе идет дождь, черный сад шумит от ветра, тоскливо и однообразно журчит вода в

дождевом желобе... Наташа еще не возвращалась.

10 июля

Наташа все эти дни избегает меня. Мы сходимся только за обедом и ужином. Когда наши взгляды встречаются, в ее глазах мелькает жесткое презрение... Бог с нею! Она шла ко мне, страстно прося хлеба, а я – я положил в ее руку камень; что другое могла она ко мне почувствовать, видя, что сам я еще более нищий, чем она?... И кругом все так тоскливо! Холодный ветер дует не переставая, небо хмуро и своими слезами орошает несчастных людей.

9 час. вечера

Сейчас нарочный привез мне со станции телеграмму из Слесарска: городская управа уведомляет, что я принят на службу, и просит приехать немедленно. Слава богу! Еду завтра вечером.

11 июля. 12 час. ночи

Я в Слесарске: приехал я всего полчаса назад. Ну и городишко! Гостиниц нет, пришлось остановиться на постоялом дворе. Мне отвели узенькую комнату с одним окном. Синие потрескавшиеся обои; под тусклым зеркальцем – стол, покрытый грязной скатертью с розовыми разводами; щели деревянной кровати усеяны очень подозрительными пятнышками. Кругом все глубоко спит, пальмовая свеча слабо освещает.

щает стены; потухающий самовар тянет тонкую-тонкую нотку; замолкнет на минутку, словно прислушиваясь, поворочит – и опять принимается тянуть свою нотку. Спать еще не хочется; буду вспоминать сегодняшний день.

К обеду приехал в Касаткино Виктор Сергеевич Гастев.

Я укладывался у себя наверху и сошел вниз, когда все уже сидели за столом.

– А-а, доктор! Здравствуйте! – встретил меня Виктор Сергеевич, высоко поднял руку и мягко опустил ее мне в ладонь. – Все ли в добром здоровье?

– Вот, Виктор Сергеевич, – сказал дядя с тем юмористическим выражением на лице, которое у него всегда является при гостях, – сей молодой человек, не желая спасать от холеры нас, уезжает на войну с холерными запятыми в ваш Слесарск.

Виктор Сергеевич поднял брови.

– Вы таки едете в Слесарск?! – недоверчиво спросил он.

– Разумеется, – ответил я, невольно улыбнувшись.

Он взял стоявшую перед ним рюмку с водкой и взглянул в нее на свет.

– А вы что же, Виктор Сергеевич, развесе сочувствуете сему геройскому подвигу? – спросил дядя тем же тоном.

Виктор Сергеевич опрокинул рюмку в рот и закусил селедкой.

– Отчего не сочувствовать? – равнодушно произнес он, вытирая салфеткой усы. – Убьют его там через неделю, – ну

так ведь это пустяки: он человек одинокий.

Тетя замахала руками.

– Да ну, Виктор Сергеевич! Типун вам на язык! Что это такое – «убьют»!

– Да очень просто! Вы не знаете, что такое наша слесарская мастеровщина, а я знаю хорошо. Вы вот раньше спросите-ка, что это за народ.

Он заткнул себе салфетку за жилет и принялся за борщ.

– Что же это за народ, Виктор Сергеевич? – спросила Соня.

Наташа, подняв голову, с ожиданием смотрела на него.

– Да вот, душенька, какой народ. Недели две назад позвали за реку доктора Чубарова к старухе одной; оказалась дизентерия. Он прописал ей лекарство, а кроме того – карболки, чтоб вылить в отхожее место. Старушка-то святая и рассуди: зачем «лекарство» в такое место выливать? Да стаканчик раствору ихватила. Ну, к вечеру, разумеется, и лежала под образами. Назавтра приезжает доктор, собрался народ, окружили его и начали расправу: били его, били, – насилу полиция отняла. И теперь еще больной лежит. Розыски пошли, расследования... Четверых арестовали.

– О боже ты мой! – в ужасе воскликнула тетя. – Ну, слава богу еще, что этого так не оставили: все-таки на них теперь страх будет.

– Страх? – расхохотался Виктор Сергеевич. – Да, да-а... Через два дня после этого вдруг в чистом поле загорелся

барак; весь сгорел, до последней щепочки. Теперь уже новый строят, кончают. Опять полиция нагрязнула, опять аресты, розыски... Народ возбужден и озлоблен до крайности. И не скрывает никто, прямо говорят: пусть к нам доктора пришлют, мы с ним разделаемся. А слухи, слухи идут, – один другого нелепее. Недавно рассказывает мне горничная: доктора с полицией вломились к одному сапожнику, у которого болела голова; самого его уволокли в больницу, а инструменты его, товар, – все пожгли; теперь сапожника выпустили, но он совершенно разорен и стал нищим... Торговки на базаре громко рассказывают: дескать, выписывают к нам трех докторов, чтоб народ травить. Вчера еще приходит ко мне моя прачка, плачет. «Горе, говорит, мне, барин, с сыновьями моими! Пришли они намедни с фабрики, рассказывают: ребята сговорились, – если докторов в Заречье пришлют, всех их разнести. Мы, говорят, тоже пойдем. Никаких моих уговоров не слушают, погубят свои головы...» Ведь это уж сознательный заговор! – закончил Виктор Сергеевич, значительно мигнув бровями, и снова принялся за борщ. – И ведь говорил я все это Дмитрию Васильевичу, предупреждал его в Пожарске, – нет! Пришла охота на нож лезть!

Наташа быстро и пристально взглянула на меня; встретившись с моим взглядом, она отвела глаза в сторону, но я успел в них прочесть что-то странное: Наташа словно была удивлена тем, что я, посылая заявление из Пожарска, уже знал обо всем этом.

– Не так это, Виктор Сергеевич, страшно, как издали кажется, – неохотно заметил я.

– Да? – рассмеялся он. – А читали вы, что в Астрахани и Саратове делается?

– Нет. А что такое? (Последние газеты были только что привезены со станции, и я их еще не просматривал.)

Виктор Сергеевич стал рассказывать о разразившихся на Поволжье беспорядках, где толпа, обезумев от горя и ужаса, разбивала больницы и в клочки терзала людей, шедших к ней на помощь.

– Ну вот видите! – закончил он. – Если там такие вещи происходят, то у нас и подавно произойдут, за это я вам ручаюсь. Помочь вы все равно ничего не сможете, – никто к вам и не обратится, – а погибнете совершенно напрасно. Пользы от этого никому ведь не будет, не так ли?... Ну вот. – И он добродушно захохотал.

– Да нет, Митечка, это ты, правда, в таком случае лучше не поезжай! – взволнованно сказала тетя.

Наташа встрепенулась.

– Ну, мама!..

– Да как же, душечка! Ведь они и в самом деле убьют его там: он даже и пользы никакой не принесет... А ну их совсем, не нужно и жалованья их в полтораста рублей!

– Да уж поздно теперь, тетя! – засмеялся я. – Не отказываться же, раз поступил!

Разговор перешел на другое.

После обеда подали кофе. На дворе уж запрягали тарантас. Мне было как-то особенно весело, и я с любовью приглядывался к окружавшим лицам. Завязался общий разговор; шутили, смеялись. Я вступил с Верою в яростный спор о Шопене, в котором, как и вообще в музыке, ничего не понимаю, но который действительно возбуждает во мне безотчетную антипатию. Я любовался Верою, как она волновалась и в ужасе всплескивала руками, когда я называл классика Шопена «салонным композитором».

Наташа все время молчала; мы с нею не перемолвились ни словом. Но иногда, случайно обернувшись, я ловил на себе ее взгляд, быстрый и пристальный, – и у меня в душе все начинало смеяться.

Лошадей подали. Все вышли провожать меня на крыльцо. Пошло прощание. Тетя три раза перекрестила меня и, обнимая, тихо всхлипнула.

После всех я подошел к Наташе. Она растерялась и робко подняла на меня глаза, – детски-восторженные, любящие... Я обнял ее. Наташа вдруг охватила мою шею руками и крепко, горячо поцеловала меня. А всегда она целует неохотно и отрывисто, словно кусает.

Я ехал в вагоне, высунувшись из окна, смотрел, как по ночному небу тянулись тучи, как на горизонте вспыхивали зарницы, и улыбался в темноту.

3 часа ночи

Лег было спать, но заснуть не удалось. Тысячи голодных клопов так и облепили тело. Проворочался два часа. Все равно не заснешь. Светает, в окно видна широкая, пустынная улица; маленькие домики спят беспробудно...

Я хочу искренно ответить себе на вопрос: боюсь ли я? Нет, и мне это очень странно. Раньше я не представлял себе, как можно жить окруженным всеобщей ненавистью; когда я видел раненых и изувеченных, мне порою приходила в голову мысль: неужели и со *мною* может когда-нибудь случиться подобное? Теперь же я представляю себе все это очень ясно – и только улыбаюсь. Как будто я теперь совсем другим стал. На душе светло и бодро, кругом все так необычно хорошо, хочется борьбы и дела.

Вот оно, – в холодном утреннем тумане тянется Заречье...
Покорю ли я его, или оно меня раздавит?

Часть вторая

15 июля

Я уже три дня в Чемеровке. Вот оно, это грозное Заречье!.. Через горки и овраги бегут улицы, заросшие веселой муравкой. Сады без конца. В тени кленов и лозин ютятся вросшие в землю трехконные домики, крытые почернелым тесом. Днем на улицах тишина мертвая, солнце жжет; из раскрытых окон доносится стук токарных станков и лязг стали; под заборами босые ребята играют в лодыжки. Изредка пробредет к реке, с простынею на плече, отставной чиновник или семинарист.

К вечеру улицы оживляются. Кустари заканчивают работу, с фабрик возвращается народ. Поужинав, все высыпают за ворота. Вдали, окутанный синим туманом, глухо шумит город; под лучами заходящего солнца белеют колокольни, блестя кресты церквей. Сумерки сгущаются. Я люблю в это время бродить по Чемеровке. У покосившихся ворот, под нависшею ивою, стоит девушка и, кутаясь в платок, слушает говорящего ей что-то мастерового; мне нравится ее открытая русая головка, нравится счастливый, смеющийся взгляд исподлобья, который она порою бросает на собеседника. Где-то мычит корова, из чащи сада несется заунывная песня... Гаснет заря, яркие звезды зажигаются в небе; темно на ули-

цах, но в темноте чувствуется жизнь, слышен говор, сдержанный женский смех... К одиннадцати часам все смолкает; ни огонька во всем Заречье, везде спят, и только собаки бесшумно спуют по пустынным улицам.

Я нанял квартиру на конце Заречья у мещанина, содержащего фруктовый сад; весь домик в три комнаты я занимаю один. Крыльцо и окна приемной выходят на улицу, из спальни виден сад с яблонями и длинными рядами кустов черной смородины, крыжовника, барбариса.

Барак стоит за городом, на лугу, рядом с обугленными развалинами прежнего барака. В нем уютно и весело, пахнет свежим деревом. При бараке – фельдшер хохол Харлампий Алексеевич Прищепенко. Говорит он медленно и почтительно, высоко поднимая брови и припечатывая каждую фразу словом «да»! Расспрашивал я фельдшера о настроении зареченцев, о пожаре барака; он рассказывал обо всем обстоятельно и спокойно, как о чем-то вполне обычном; потом перешел к тому, что нужно бы сделать кое-какие закупки для барака... Признаться, совестна мне стало за мое повышенное настроение духа.

Все бы хорошо в бараке, но низший персонал!.. Интересно, откуда к нам набрали таких. Один служитель, Павел, – маленький человек с мутными, блудливыми глазами, которыми никогда не смотрит в лицо; одет он в пиджак и штаны навыпуск; по всему видно, – прощельяга, прельстившийся высокой платой. Сегодня под моим руководством он приго-

товлял серно-карболовый раствор. Когда я сказал ему, чтоб он поосторожнее обращался с серной кислотой, – на руку попадет, так всю руку разъест, – в глазах Павла мелькнуло что-то, что трудно описать; но я голову даю на отсечение, что поступил он к нам в барак, как поступил бы... в шайку разбойников. Другой служитель, Федор, – неповоротливый деревенский парень с сонным и глуповатым лицом. И вот весь наш, с позволения сказать, «санитарный отряд».

17 июля

Я уже несколько дней назад вывесил на дверях объявление о бесплатном приеме больных; до сих пор, однако, у меня был только один старик эмфизматик да две женщины приносили своих грудных детей с летним поносом. Но все в Чемеровке уже знают меня в лицо и знают, что я доктор. Когда я иду по улице, зареченцы провожают меня угрюмыми, сумрачными взглядами. Мне теперь каждый раз стоит борьбы выйти из дому; как сквозь строй, идешь под этими взглядами, не поднимая глаз.

18 июля

Все вокруг как будто спокойно, но что-то злое носится в воздухе, нервы напряжены. Через фельдшера, через кухарку, отовсюду до меня доходят странные слухи: меня будто видели ночью у молчановского колодца, видели, что я сыпал в него какой-то порошок; молотобойцы из кузницы погна-

лись за мною, но я перепрыгнул через забор в баташовский сад и скрылся. Другие видели, как ночью провезли в барак целый обоз гробов и крьючев. Собираются будто вторично поджечь барак, перебить полицию и медицинский персонал. Я стараюсь уверить себя, что не боюсь, но при каждой пьяной песне на улице, при каждом стуке сердце неприятно вздрагивает.

19 июля. Воскресенье

Сегодня вечером я получил по почте безграмотное письмо. Анонимный доброжелатель предварял меня, что этою ночью «ребята» собираются разгромить мою квартиру. Когда я читал письмо, за мною прислали от Покровского священника, с дочерью которого случился припадок. Возвращался я домой по Ключарной улице. Было темно; тучи низко нависли над городом; накрапывал дождь. Дверь кабака раскрылась, тусклая полоса света легла на дорогу и отразилась в луже. Две тени неслышно перешли улицу и скрылись около пустыря. Мне приходилось идти мимо. Оборванный, босой мужчина в широких штанах прятался в углублении калитки, молча и внимательно следя за мною взглядом; я невольно выпрямился и, проходя, сжал в руке палку. Сзади опять появились две тени; до меня донеслось слово «доктор». Я свернул на Мотякинскую улицу, потом на Серебрянку. Тени следовали за мною по ту сторону улицы, прячась у заборов. Воротился я домой. Перепуганная кухарка сообщила, что

сейчас приходила кучка пьяных чемеровцев и спрашивали меня. Ее уверениям, что меня нет дома, они не поверили и начали ломиться в дверь. Прохожий сказал им, что только что видел меня у церкви Николы-на-Ржавцах. Они все двинулись туда по Ямской улице.

– Вы бы, барин, до завтраго уехали бы в город, – посоветовала кухарка. – Долго ли до греха? Народ пьяный, в голове бог знает что...

– Эх, Авдотьюшка, не так все это страшно! – засмеялся я, потрепав ее по плечу. – Что они мне сделают? И здесь переночуем, не велика беда.

Уехать в город... Не захватить ли мне с собою кстати и фельдшера с служителями, чтобы в случае заболевания никого из нас не могли найти?

Авдотья улеглась спать. Мне не спится, и я сижу за письменным столом.

Что скрываться перед собою? Мне тяжело и страшно. Страшно этой темноты, страшно того, что нельзя защищаться. Когда я подумаю: вот сейчас ворвутся сюда эти люди – безумный ужас овладевает мною, и я не могу примириться с мыслью: да как это возможно?! За что?

Дождь тихо капает по листьям, в темном саду слышатся смутные шорохи. И я тут один...

21 июля

Я лег вчера спать в первом часу ночи. Только что задре-

мал, как в комнату раздался стук. Авдотья просунула голову в дверь и доложила, что пришел фельдшер. У меня в предчувствии екнуло сердце; я велел позвать его и зажег свечу.

В комнату медленно и неслышно вошел Харламий Алексеевич, бледный, с широко раскрытыми глазами. Гробовым голосом он объявил:

– Дмитрий Васильевич, у нас в Заречье холера!

– Да ну?

– Настоящая: с рвотой, с судорогами... На Ключарной улице. Слесарь Черкасов.

– Что, вы сами видели? Были вы уж там?

– Был-с. За мною в барак присылали. Я велел воду греть и вот к вам пришел.

Я стал торопливо одеваться. По груди и спине бегала мелкая, частая дрожь, во рту было сухо; я выпил воды. «Нужно бы поесть чего-нибудь, – мелькнула у меня мысль. – На тощий желудок нельзя выходить... Впрочем, нет; я всего полтора часа назад ужинал». Я оделся и суетливо стал пристегивать к жилетке цепочку часов. Харламий Алексеевич стоял, подняв брови и неподвижно уставясь глазами в одну точку. Взглянул я на его растерянное лицо, – мне стадо смешно, и я сразу овладел собою.

– Ну, вот и практика у нас с вами появилась! – сказал я с улыбкой. – Вы все захватили, что нужно?

Мы вышли на улицу. Передо мною, отлого спускаясь к реке, широко раскинулось Заречье; в двух-трех местах мер-

цали огоньки, вдали лаяли собаки. Все спало тихо и безмятежно, а в темноте вставал над городом призрак грозной гостыи...

На Ключарной улице мы вошли в убогий, покосившийся домик. В комнате тускло горела керосинка. Молодая женщина с красивым, испуганным лицом, держа на руках ребенка, подкладывала у печки щепки под таганок, на котором кипел большой жестяной чайник. В углу, за печкой, лежал на досчатой кровати крепкий мужчина лет тридцати, – бледный, с полужакрытыми глазами; закинув руки под голову, он слабо стонал.

– Добрый вечер! – сказал я, снимая пальто.

– Здравствуйте! – ответила молодая женщина, взглянув на меня, и сейчас же снова повернулась к печке.

Я подошел к больному и пощупал пульс. Рука была холодная, но пульс прекрасный и полный.

– Давно его схватило? – спросил я молодую женщину.

– После обеда сегодня, – ответила она, не глядя на меня. –

Пришел с работы, пообедал, через час и схватило.

Говорила она неохотно, словно старалась отвязаться от тех пустяков, с которыми я к ней приставал. И вообще держалась она со мною так, как будто я был случайно зашедший с улицы человек, только мешавший ей в ее важном деле.

– Ну что, Черкасов, как себя чувствуете? – спросил я больного.

– Нутро жжет, ваше благородие, мочи нет; тошно на серд-

це.

– Хотите воды со льдом?

Фельдшер подал ему ковш. Он припал губами к краю, жадно глотая воду.

– С чего это случилось с вами? – спросил я. – Не поели ли вы сегодня тяжелого?

Черкасов снова лег на спину.

– С молока это, ваше благородие: пришел я с работы уставши, поел щей, а потом сейчас две чашки молока выпил.

Он замолчал и закрыл глаза. Фельдшер готовил горчичник. Я вынул из кармана порошок каломеля.

– Ну, Черкасов, примите порошок! – сказал я.

Его жена быстро подошла ко мне и остановилась, следя за каждым моим движением. Черкасов решительно ответил:

– Нет, ваше благородие, это вы оставьте; не стану я порошков принимать!

Я сдерживал улыбку.

– Вы думаете, я вас отравить хочу? Ну, вот вам два порошка, выбирайте один; другой я сам приму.

Черкасов поколебался, однако взял порошок; другой я высыпал себе в рот. Жена Черкасова, нахмутив брови, продолжала пристально следить за мною. Вдруг Черкасов дернулся, быстро поднялся на постели, и рвота широкою струею хлынула на земляной пол. Я еле успел отскочить. Черкасов, свесив голову с кровати, тяжело стонал в рвотных потугах. Я подал ему воды. Он выпил и снова лег.

– Ну, Черкасов, примите же порошок!

– А ну, выпейте-ка допрежь того воды вашей, – проговорила жена Черкасова, враждебно глядя на меня.

– Ты, матушка, слишком-то не дури! – строго прикрикнул фельдшер. – С чего это доктор вашу воду пить станет?

– Вода наша, я знаю, а лед-то ваш!

Я улыбнулся и взглянул на фельдшера.

– Ну, что ты с нею станешь делать? Давайте вашу воду.

У меня смутно шевелилась надежда, что воду она мне даст в чистой посуде. Жена Черкасова взяла ковш, стоявший у постели мужа, и протянула его мне. У меня упало сердце.

«Да ведь отсюда только сейчас холерный пил!» – со страхом подумал я, поднося ковш к губам. Мне ясно помнится этот железный, погнутый край ковша и слабый металлический запах от него. Я сделал несколько глотков и поставил ковш на стол.

Черкасов принял порошок. Фельдшер положил ему на живот горчичник. Стало тихо. Больной лежал, неподвижно вытянувшись. Керосинка, коптя и мигая, слабо освещала комнату. Молодая женщина укачивала плакавшего ребенка.

– Вы скажите, Черкасов, когда горчичник станет жечь, – сказал я.

– Ничего, ваше благородие, оно жжет, только приятно, – тихо ответил он.

Я сидел на табуретке, свесив голову. Теперь у меня в желудке тысячи холерных бацилл; есть там еще соляная кисло-

та или нет? В животе слабо бурчало и переливалось.

– Опять ревматизм появился в ногах! – быстро проговорил Черкасов, начиная ежиться и двигаться на постели. – Аксинья! Три, ради бога!.. Три скорей!

Я пощупал под одеялом его ноги; мускулы икр судорожно сокращались и были тверды, как камень.

– О-ooo!.. О-ooo!.. – протяжно стонал больной, дрожа и вытягиваясь во весь рост. Мы стали оттирать его горячими бутылками и камфарным спиртом.

Судороги постепенно слабели. Черкасов закинул за голову мускулистые руки и лежал с полуоткрытыми глазами, изредка тяжело вздыхая. Павел подавал ему воду, и он жадно пил ее целыми ковшами.

В комнату вошла толстая, немолодая женщина с бойким лицом и черными бровями.

– Здравствуйте, господин доктор!.. Ну что, соседушка, как муженек?

– Да лежит вот!

– Говорите-ка вот с ними, господин доктор!.. Ни за что за вами не хотели посылать: пройдет, говорят, и так. А я смотрю, уж кончается человек, на ладан дышит. Что ты, я говорю, Аксиньюшка, али ты своему мужу не жена? Тут только один доктор и может понимать.

– Чем раньше будете за мною посылать, тем лучше, – сказал я. – Ведь это такая болезнь:хватишь в начале, – пустяками отделаешься. А у вас как? «Пройдет» да «пройдет», а

как уж плохо дело, так за доктором. После обеда схватило, сейчас бы и послали. Давно бы здоров был.

– Да ведь... миленький! Ну, как же иначе? Вон, говорят, кругом болезнь ходит. Доктора учатся, они понимают. А. что пустяки-то разные болтают в народе, так нешто все переслушаешь?

Больной пошевелился на постели.

– Уж больно жжет горчичник, прикажите снять, ваше благородие!

Вскоре опять началась рвота. Больной слабел, глаза его тускнели, судороги чаще сводили ноги и руки, но пульс все время был прекрасный. Мы втроем растирали Черкасова. Соседка ушла. Аксинья сидела в углу и с тупым вниманием глядела на нас.

Светало. Я сполоснул руки сулемою и вышел наружу покурить. На улице было безлюдно; в березах соседнего сада чирикали воробьи. Аксинья тоже вышла.

– Вот что, голубушка, – сказал я, – вы всю эту посуду, из которой пил больной, отставьте в сторонку и не пейте из нее сами, а то заразитесь. И одеяло, и пальто, которым он покрыт, отложите. Нужно будет это все в горячей воде прокипятить.

– Нам что ж! Кипятите.

Аксинья помолчала.

– Ему весть была дана, – проговорила она, глядя вдаль.

– Какая весть?

– Утром вчера шел через мост, его ласточка крылом задела. Пришел к обеду, сказывал.

– Ну, пустяки! Какая там весть! Бог даст, выздоровеет.

Я воротился в комнату. Больной затих и лежал спокойно, закрыв глаза и держа в руках горячую бутылку; иногда только судороги схватывали его ноги, и лицо болезненно перекашивалось.

Бледное утро смотрело в окна. Фельдшер, понутив голову, дремал на табуретке; больной, укутанный тремя одеялами, также задремал. Стало тихо. В низкой комнате было темно и душно, несмотря на открытые окна; керосинка тускло освещала грязную, промасленную поверхность стола и выступ печи; пахло тараканами и керосином. Я сидел на постели Черкасова и под одеялом водил горячею бутылкою по его ногам. В люльке лежал под кучею красных тряпок грязный, бледный ребенок, с огромными ушами. Он не спал; подняв безволосые брови, он молча и пристально смотрел на меня, изредка двигая по одеялу худыми, как спички, ручонками. Я тоже смотрел на него... Для чего любовь этих двух сильных, красивых людей, дающая в результате таких жалких, рахитических уродцев? И для чего вообще они трудятся, что поддерживают их в их тяжелой работе? Неужели забота об этом смрадном угле?

Черкасов начал тихонько всхрапывать. Я велел фельдшеру полить сулемою пол, а сам с Аксиньей и Павлом вышел из комнаты, чтобы дезинфицировать отхожее место. Увы! Его

не оказалось, и пришлось полить чуть не весь дворик.

Когда мы воротились, больной по-прежнему тихо спал. Фельдшер, сидя на табуретке, в сонливой задумчивости смотрел в одну точку и клевал носом. Я отпустил его с Павлом домой и остался один. Аксинья прикорнула на сундуке и тоже задремала. Я еще с час просидел на завалинке, куря и любясь восходом солнца. Черкасов крепко спал. Он был вне опасности. Дезинфекцию приходилось отложить, чтобы дать больному выспаться. Я разбудил Аксинью, еще раз повторил ей, чтоб посуду, белье, одежду она не трогала до нашего прихода, и отправился домой.

В десять часов утра мы явились произвести дезинфекцию. Черкасов, в чистой топорщившейся ситцевой рубаше и блестящих сапогах, стоял у ворот, держа на руках ребенка.

– Вот уж как! – с радостным удивлением воскликнул я. – Вы ли это, Черкасов? Ну, молодец!.. Здравствуйте.

– Здравствуйте, ваше благородие!

– Как вы себя чувствуете?

– Да как есть здоров. Спасибо, ваше благородие, что отходили. А намедни так уж и думал, что помирать пора пришла.

– Ну, так вот же что, Черкасов, вы теперь будьте поосторожнее с едою, не ешьте зелени и ничего тяжелого. Лучше всего съешьте сегодня яичко всмятку да чаю выпейте с коньяком, я вам дам.

– Слушаю-с! Да вы пожалуйста в горницу.

Я вошел в комнату – и остановился. Боже мой, что я уви-

дел! Земляной пол был подтерт чисто-начисто, посуда, вся перемытая, стояла на полке, а Аксинья, засучив рукава, месила тесто на скамейке, стоявшей вчера у изголовья больного. У меня опустились руки.

– Ну, скажите, пожалуйста, Аксинья, что вы такое сделали? – спросил я, через силу сдерживаясь.

– Что я такое сделала?

– Ведь я же вам сегодня утром несколько раз говорил: не подтирайте пола, отставьте всю посуду в сторону...

– Да что же ей грязной стоять?

– А то вот, что вы теперь по всему дому заразу разнесли! Понимаете вы это?... Эх!..

Я махнул рукою и обратился к Черкасову:

– Ну, вот что, Черкасов: все-таки нужно будет комнату от заразы очистить. Все подушки, одеяло, которым вы вчера покрывались, дайте нам; мы их вам завтра отдадим. И комнату нужно будет хорошенько полить и обрызгать.

Фельдшер взял в руки бутылку с сулемой. Глаза Черкасова враждебно засветились, и он быстро сказал:

– Ну, нет, ваше благородие, это вы велите оставить!

– Вот те раз!.. Да вы знаете ли, Черкасов, что у вас было? Ведь у вас *холера* была, заразительная болезнь; если не полить комнату, так зараза во все стороны поползет, по всему Заречью пойдет.

– Да окончательно сказать, у меня одни пустяки были: поел вчера щей с молоком, только и всего. Нешто это холера?

– Скажите, Черкасов, а вы видали когда-нибудь холеру?

– Н-нет. не видал.

– А я видал, и говорю вам, что это холера. Ведь нельзя же так об одном себе думать! Не убьешь заразы, она пойдет дальше; и соседей всех заразите и жену. Подумайте сами, – ну разве же можно так?

В комнату вошла приходившая ночью соседка Черкасовых и остановилась у дверей.

– Да ни за что не дам поливать! – сказала Аксинья. – Польете карбовкой, вонь пойдет...

– Какая карболка? Сулема это, а не карболка! Понюхайте, – разве есть вонь? – Я протянул ей бутыль. Аксинья понюхала.

– Конечно, есть!

– Ну, да понюхайте же хорошенько! Ведь ничем не пахнет, как вода. Мы же ночью этим самым поливали.

– У меня вон дети и так еле дышат, – сказал Черкасов. – Польете карболкой, все перемерут.

– Да Иван Андреич, от карбовки вреда нету, – вмешалась соседка. – Вот у меня на всех святых дите умерло от горла; все карбовкой полили, – отлично! Это заразу убивает.

– Э, все это от бога! – сказала Аксинья. – Бог не захочет, ничего не будет.

– От бога?... Скажите, Аксинья, зачем же вы меня ночью позвали? – спросил я. – Бог-то богом, а я вам говорю: если бы не позвали меня, ваш муж теперь в гробу лежал бы, знаете

вы это? Ведь он уж кончался, когда я пришел.

– Кончался, как есть кончался! – подтвердила соседка. – Прихожу я, – уж холодать начал, и глаза закатил...

– За это я вам по гроб своей жизни благодарен, – сказал Черкасов и поклонился.

– Да что мне от вашей благодарности! Как самому плохо, так доктора поскорее звать, а как дело до других, так сейчас: «Все от бога»... И вам не стыдно, Черкасов? Ведь вы же не в поле живете, кругом люди! Если теперь кто поблизости заболел, вы знаете, кто будет виноват? Вы один, и больше никто!.. О себе позаботился, а соседи пускай заражаются?

– Да ведь я все только насчет детей, – сказал Черкасов, понизив голос.

– Ну послушайте, Черкасов, – подумайте немножко, хоть что-нибудь-то можете вы сообразить? Я над вами всю ночь сидел, отходил вас, – хочу я вам зла или нет? Что мне за прибыль ваших детей морить? А заразу нужно же убить, ведь вы больны были заразной болезнью. Я не говорю уж о соседях, – жена ваша и дети могут заразиться. Сами тогда ко мне прибежите.

– Ну, ну, Иван, чего ты, всагом деле? – сказал фельдшер. – Словно баба какая, ничего не понимаешь!

Он взял бутылку и стал поливать пол.

– Да не дам я поливать! – крикнула Аксинья и бросилась к нему.

Черкасов стоял, угрюмо и злобно закусив губу.

– Ну, матушка, ты здесь не слишком-то бунтуй! – сказал фельдшер. – А то мы полицию позовем.

– Дело не в полиции, – прервал я его, нахмурившись. – Полиции я звать не стану. Но скажите же, Черкасов, объясните мне, отчего вы не хотите дать полить?

– Так, ваше благородие, нет моего согласу на это.

– Да отчего же?

– Да окончательно сказать, не нужно это. Бог даст, и так все живы будем.

– Вот на пасху у машиниста то же самое было, – сказала Аксинья. – Никакой карбовкой не поливали, все живы остались. А то карбовкой все обрызгаете... Ведь мы как живем? И сами у соседей то-другое занимаем, и им даем. А тогда нешто кто нам даст?

– Эх вам эта карболка далась! Да понюхайте же, господа, разве это пахнет карболкой?

Черкасов махнул рукою.

– Нет, ваше благородие, что разговаривать? Не дам я поливать!

– Ну, как хотите. Заставлять я вас не стану. Но помните, Черкасов: если теперь кто поблизости заболит, *вы* будете виноваты! Прощайте!

Фельдшер удивленно вскинул на меня глазами и покорно последовал за мною.

И вот мой первый дебют. Скверно и тяжело на душе, мучит совесть; произвести дезинфекцию было необходимо, но

что же я мог сделать? Оставалось только прибегнуть к полиции; дезинфекцию мы бы произвели, а дальше? Если из *ничего* создалась легенда о сапожнике, разоренном врачами и полицией, то какие слухи пошли бы теперь? Холерные скрывались бы до последней возможности, зараженные ими вещи прятались бы подальше и разносили заразу все шире... И все-таки я знаю, что на Ключарной улице, в том маленьком домике, гнездится очаг заразы, она, может быть, расползется по всему городу; я, врач, знаю это и ничего не предпринимаю... Боже мой, как все скверно!

23 июля

Амбулатория у меня полна больными. Выздоровление Черкасова, по-видимому, произвело эффект. Зареченцы, как передавала нам кухарка, довольны, что им прислали «настоящего» доктора. С каждым больным я завожу длинный разговор и свожу его к холере, настоятельно советую быть поосторожнее с едою и при малейшем расстройстве желудка обращаться ко мне за помощью.

Холера, по-видимому, водворилась в Заречье: было еще три случая заболевания (подтверждено бактериоскопически). Но начинается она мягко и слабо, не справляясь с книжками, по которым именно вначале она должна быть наиболее жестокой, все трое заболевших уже поправляются. Один из них, сторож грызловского огорода, когда мы явились к нему, сам попросился в барак; это – деревенский па-

рень лет двадцати пяти, звать его Степан Бондарев. Мы ухаживали за ним всю ночь, и теперь он поправляется, хотя еще очень слаб. Разумеется, всем желавшим проведать его я дал свободный доступ в барак, что опять-таки сильно смутило фельдшера. Но благодаря этому зареченцы увидели, что барак ничуть не страшнее обыкновенной больницы. Когда на следующий день «схватило» жестянщика Андрея Снеткова, то мне не стоило большого труда уговорить его лечь в барак. Острый приступ у него прошел, но поносы продолжают, он сильно исхудал и глядит апатично и вяло.

Оба они лежат рядом. Степан, стройный парень с низким лбом и светлыми усиками, старается разговорами расшевелить неподвижно-задумчивого Андрея. Когда им приносят обедать, Степан, уплетая сам свой бульон или яйцо всмятку, увещевает соседа:

– Чего не ешь? И так вон как отошал, – гляди, помрешь! Не хочется есть, – ешь поверх своей силы-мочи... Чудак человек!

Каждый день к Андрею приходит его брат, низенький человек с редкою бороденкою, с огромным багрово-синим рубцом на щеке. Всхлипывая и утирая рукавом глаза, он сует в руку Андрея гривенник.

– Небось кисленького хочется тебе; купи огурчиков или чего такого... Эх, Андрюша, Андрюша!

– Чего же ты плачешь? – спрашивает Степан Бондарев, с любопытством и как-то недоверчиво глядя на него.

– Да ведь один у меня брат-то, как же не плакать? Кабы много было... Уж вылечите его, господин доктор! Вы люди ученые! – обращается он ко мне и низко кланяется.

Андрей лежит, подперев голову рукою, и с безучастною улыбкою следит за братом...

Вчера я получил письмо от Наташи. Вот оно:

«Митя! Ты знал, какие ужасы происходят в Заречье, и все-таки отправился туда. Как хорошо, что ты так поступил! Я этому очень рада. Я знаю, что ты поехал туда не шутки шутить, я очень хорошо знаю, чему ты себя подвергаешь, и все-таки я рада. Какая это жизнь, если постоянно заботиться только о своей безопасности! Пусть будет что будет, но там ты делаешь дело, настоящее дело. В каком настроении ты поехал туда? Что тебя там встретило? Какие твои первые сношения с зареченцами? Как ты себя чувствуешь между ними? Пиши мне, пожалуйста, Митя! Зареченцы эти грубы и дики, как звери, но разве они в этом виноваты? Пиши, пожалуйста; пожалуйста, пиши мне! Ведь нетрудно же тебе написать несколько строк. Буду ждать».

27 июля

Вчера после обеда в барак привезли нового больного. Фельдшер отправился произвести дезинфекцию в его квартире и взял с собой Федора. Я остался при больном. Это был старик громадного роста и плотный, медник-литух Иван Ры-

ков. Его неудержимо рвало и слабило, судороги то и дело схватывали его ноги. Он стонал и метался по постели. Я послал Павла готовить ванну.

– Дайте мне походить! – слабым голосом сказал больной. – Сводит ноги, мочи нет.

Я хотел помочь ему встать. Рыков своим тяжелым телом оперся на меня и, не устояв, снова сел на постель. Он вздохнул и покачал головой.

– Нет, барин, не сдержишь меня один!

Я это и сам видел... Уж и теперь, когда больных было мало, то и дело приходилось ощущать недостаток в людях; а прибудь сейчас в барак хоть двое новых больных, – и мы остались бы совершенно без рук. Я отправился в отделение для выздоравливающих и предложил Степану Бондареву поступить к нам в служители, – он уже поправился и собирался выписываться из больницы. Степан согласился.

Ванна была готова. Я велел посадить в нее стонавшего Рыкова. Судороги прекратились, больной замолк и опустил голову на грудь. Через четверть часа он попросился в постель; его уложили и окутали одеялами.

– О-о, господи-батюшка! – тяжело вздохнул Рыков и прижался головой к краю подушки.

– Ай томно тебе? – с любопытством спросил Степан, словно поверяя на нем пережитые им самим ощущения.

– То-омно!..

– Под сердцем горит?

– Горит, парень, сил нету... Смерть пришла.

Степан уверенно сказал:

– С чего помереть? Не помрешь!

Рыков закрыл глаза и вытянулся. Вскоре его опять стало рвать, потом начались судороги... Степан пощупал под одеялом сведенные икры Рыкова.

– Ишь, словно яблоки! – сказал он про себя.

– Ох, и где же это ветерок?! Душно мне! – с тоскою проговорил Рыков. – Дайте мне походить. Помогите, Степа!

Степан и Павел взяли его под руки и стали водить по комнате. Походив, он снова сел в ванну.

– Воды погорячей! – отрывисто сказал он.

Я велел подлить кипятку.

– Хорошо так?

– Лейте, ради бога! – нетерпеливо произнес Рыков. Сначала покорный и за все благодарный, он становился все капризнее и требовательнее.

– Нельзя ли ванну подлиннее? – сердито ворчал он, ворочаясь и поджимая ноги.

Вечерело. Рыкову становилось хуже. Приехал священник и исповедал его. Рвота и понос не прекращались; больной на глазах спадался и худел; из-под полузакрытых век тускло светились зрачки, лоб был клейкий и холодный; пульс трудно было нащупать. Меня удивило, как часто Рыков просился в ванну; сидит в ней с полчаса, затем походит по комнате, полежит – и опять в ванну; и все просит воды погоря-

чей. Степан не отходил от него; он изредка переговаривался с Рыковым сиплым, грубоватым голосом, и что-то такое братски-заботливое сквозило в его коротких замечаниях, во всем его обращении.

В час ночи меня сменил выспавшийся тем временем фельдшер. Я сделал нужные распоряжения, сказал, чтобы ванн больному давали, сколько бы он их ни просил, а сам отправился домой.

В пятом часу утра я проснулся, словно меня что толкнуло. Шел мелкий дождь; сквозь окладные тучи слабо брезжил утренний свет. Я оделся и пошел к бараку. Он глянул на меня из сырой дали – намокший, молчаливый. В окнах еще горел свет; у лозинки под большим котлом мигал и дымился потухавший огонь. Я вошел в барак; в нем было тихо и сумрачно; Рыков неподвижно сидел в ванне, низко и бессильно свесив голову; Степан, согнувшись, поддерживал его сзади под мышки.

– Ну как больной? – спросил я.

Степан поднял на меня бледное, усталое лицо, медленно выпрямился и повел плечами.

– Ничего, – коротко ответил он. – Блюет все да воды погорячей просит.

За эти несколько часов Рыков изменился неузнаваемо: лицо осунулось и стало синеватым, глаза глубоко ввалились; орбиты зияли в полумраке большими, черными ямами, как в пустом черепе.

– Ну, что, Иван, как? – спросил я.

Рыков чуть повел головою, не поднимая век.

– Говори дюжей, не слышу! – сказал он сиплым, еле слышным голосом.

– Как дела? – громче повторил я.

Больной помолчал.

– Воды погорячей! – пробормотал он и тяжело перевернулся в ванне на другой бок. Пульса у него не было.

Я спросил Степана:

– Где же фельдшер?

– Он ушел: его к больному позвали.

– Давно?

– Часа три будет.

– Отчего же он за мною не послал?

– Пожалел: говорит, вы и так мало спали.

Оказывается, вскоре после моего ухода фельдшера позвали к холерному больному; он взял с собой Федора, а при Рыкове оставил Степана и только что было улегшегося спать Павла. Как я мог догадаться из неохотных ответов Степана, Павел сейчас же по уходе фельдшера снова лег спать, а с больным остался один Степан. Сам еле оправившийся, он *три часа* на весу продержал в ванне обессиленного Рыкова! Уложит больного в постель, подольет в ванну горячей воды, поправит огонь под котлом и опять сажает Рыкова в ванну.

Я пошел и разбудил Павла. Он вскочил, поспешно оправляясь и откашливаясь.

– Кто это вас, Павел, отпустил спать?

– Я сейчас только... гм... гм... на минуту прилег... – Он продолжал откашливаться и избегал моего взгляда.

– Послушайте, не врите вы! – повысил я голос.

– Не сутки же целые мне не спать! – проворчал он, скользнув взглядом в угол.

– Человек умирает, а вы его без помощи бросаете! Вы и двое суток должны не спать, если понадобится.

– Это я не согласен.

– Ну, так вы сегодня же получите расчет.

Лицо Павла сразу приняло независимое и холодное выражение. Он поднял голову и, прищурившись, взглянул мне в глаза.

Я прикусил губу.

– А если вы сейчас не пойдете в барак, вы ни копейки не получите из жалованья.

Павел закашлял и снова забегал взглядом по сторонам.

– С чего же не иди-то? – пробормотал он, обдергивая рукава на пиджаке. – Сейчас иду.

Я воротился в барак. Рыков по-прежнему сидел в ванне. Степан пошел подлить воды в котел и передал больного Павлу. Павел, виновато улыбаясь, почтительно взял громадного Рыкова под мышки и стал его поддерживать.

Тяжело и неприятно было на душе: как все неустроено, неорганизовано! Нужно еще отыскать надежных людей, воспитать их, внушить им правильное понимание своих обя-

занностей; а дело тем временем идет через пень колоду, положить не на кого...

Часы шли. Рыков почти не выходил из ванны. Я опасался, чтобы такое продолжительное пребывание в горячей воде не отозвалось на больном неблагоприятно, и несколько раз укладывал его в постель. Но Рыков тотчас же начинал беспокойно метаться и требовал, чтобы его посадили обратно в ванну. Пульс снова появился и постепенно становился все лучше. В одиннадцатом часу больной попросился в постель и заснул; пульс был полный и твердый...

Около четырнадцати часов Рыков, почти не выходя, просидел в ванне, – и я вынес впечатление, что спасла его именно ванна.

29 июля

Не знаю, испытывают ли это другие: все, что мы делаем, все это бесполезно и не нужно, всем этим мы лишь обманываем себя. Какая, например, польза от нашей дезинфекции? Разве не ясно, что она лишь тогда имеет смысл когда само население глубоко верит в ее пользу? Цели же этого нет, то единственный выход – введение какого-то прямо осадного положения: пусть всюду рыскают всевидящие сыщики, пусть царствует донос, пусть дезинфекция вламывается в подозрительные жилища и ставит все вверх дном, пусть грозный ропот недовольства смолкает при виде штыков и казацких нагаек... Да и таким-то путем много ли достигнешь?

И вот приходится играть комедию, в которую сам не веришь. Обрызгивать сулемою место, где лежал больной, отбирать пару кафтанов и одеял, которыми он покрывался. Я знаю, нужно бы всех выселить из зараженного дома, забрать все вещи, основательно продезинфицировать отхожее место и все жилище... Да, но куда выселить, во что одеть выселенных? Главное, как заставить их убедиться в пользе того, что для них делаешь? Как дезинфицировать отхожее место, если его нет и зараза беспрепятственно сеялась по всему двору и под всеми заборами улицы? А между тем видишь, что будь только со стороны жителей желание, – и дело бы шло на лад, и можно бы принести существенную пользу... Тонешь и задыхаешься в массе мелочей, с которыми ты не в состоянии ничего поделать; жаль, что не чувствуешь себя способным сказать: «Э, моя ли в том вина? Я сделал, что мог!» – и спокойно делать «что можешь». Медленно, медленно подвигается вперед все – сознание собственной пользы, доверие ко мне; медленно составляется надежный санитарный отряд, на который можно бы положиться.

1 августа

Эпидемия разгорается. Уж не один заболевший умер. Вчера после обеда меня позвали на дом к слесарю-замочнику Жигалеву. За ним ухаживала вместе с нами его сестра – молодая девушка с большими, прекрасными глазами. К ночи заболела и она сама, а утром оба они уже лежали в гробу.

Передо мною, как живое, стоит убитое лицо их старухи матери. Я сказал ей, что нужно произвести дезинфекцию. Она махнула рукою.

– Да что? Вы вот известку льете, льете, а мы все мрем... Лейте, что ж!

3 августа

Весело жить! Работа кипит, все идет гладко, нигде ни зацепки. Мне удалось наконец подобрать отряд желаемого состава, и на этот десяток полуграмотных мастеров и мужиков я могу положиться как на самого себя, лучших помощников трудно и желать.

Не говорю уже о Степане Бондареве: глядя на него, я часто дивлюсь, откуда в этом ординарнейшем на вид парне столько мягкой, чисто женской заботливости и нежности к больным. Но вот, например, Василий Горлов; это мускулистый молодец с светло-голубыми, разбойничьими глазами; говорят, он бьет свою мать, побоями вогнал в гроб жену. И этот самый Горлов держится со мною, как кроткая овечка, и работает как вол. Он дезинфектор. С каким апломбом является он в жилище холерного, с каким авторитетным и снисходительным видом объясняет родственникам заболевшего суть заразы и дезинфекции! И его презрение к их невежеству действует на них сильнее, чем все мои убеждения.

Андрей Снетков выздоровел и также служит у нас в санитарях. Для женского отделения у меня есть две служитель-

ницы; одна из них – соседка Черкасовых, которая в ту ночь заходила к ним проведать больного.

Всем своим санитарам я говорю «вы» и держусь с ними совершенно как с равными. Мы нередко сидим вместе на пороге барака, курим и разговариваем; входя в комнату, я здороваюсь с ними первый. И дисциплина от этого несколько не колеблется, а нравственная связь становится крепче.

Однажды, в минуту откровенности, Василий Горлов заявил мне:

– Ей-богу, Дмитрий Васильевич, я вас так полюбил! Для вас все равно, что благородный, что простой, – вы со всеми равны. С вами говорить неопасно, не то, что другие, – серьезные такие... Конечно, по учению вы... и опять же таки, например, по дворянству... А все-таки я к вам, как к брату родному... Имейте в виду.

Я чувствую, что с каждым днем становлюсь в их глазах все выше. Работать я заставляю всех много и в требованиях своих беспощаден. И все-таки я убежден, что никто из них не откажется из-за этого от службы, как Павел; чем я горжусь всего более, это тем, что их дело стало для них высоким и благородным, им стыдно было бы взглянуть на него с коммерческой точки зрения.

– Дмитрий Васильевич! – говорит мне Горлов. – А позвольте вас спросить: ведь вот начальство за вами не смотрит, – зачем вы так уж себя утомляете?

– Голубчик мой, да разве это для начальства делается? Ну,

судите по самому себе: вы вот пришли к заболевшему, все обрызгали, дезинфицировали; без этого, может быть, и другие бы заболели, а теперь благодаря вам останутся живы. Разве вам это не приятно?

И Горлову начинает казаться, что ему это действительно чрезвычайно приятно.

В Заречье обо мне говорят с любовью и благодарностью. Когда я вспоминаю чувство, с каким в первое по приезде утро смотрел на расстилавшееся передо мною Заречье, мне смешно становится: я скорее двадцать раз умру от холеры, чем хоть волос на моей голове тронет кто-нибудь из чеме-ровцев.

Да, весело жить! Весело видеть, как вокруг тебя кипит живое дело, как самого тебя это дело захватывает целиком, весело видеть, что не даром тратятся силы, и сознавать, — я не хочу стесняться, — сознавать, что ты не лишний человек и умеешь работать.

4 августа

Все это так: обо мне говорят в Заречье с любовью и благодарностью, меня слушаются... Но могу ли я сказать, что мне доверяют? Если мои советы и исполняются, то все-таки исполняющий глубоко убежден в их полной бесполезности. Он делает одолжение мне лично, потому что я «хороший человек», мои же советы и всю мою «господскую» науку он не ставит ни в грош. Я указываю ему на факты, значения ко-

торых он не может не понимать, – факты, ясные десятилетнему ребенку; он принужден согласиться со мною; но согласие остается внешним, оно не в силах ни на волос пошатнуть того глубокого слепого недоверия к нам, которое насквозь проникает душу зареченца.

А скажи ему то же самое проходя богомолка или отставной солдат, – и он с полною верою станет исполнять все ими сказанное, он не станет притворяться фаталистом и говорить: «Бог не захочет, ничего не будет». Вот про бараки ему давно уже наговорили всевозможных ужасов идущие с Волги рабочие, – и он старательно обходит наш барак за сотню сажен.

6 августа

Вчера вечером я воротился домой очень усталый. Предыдущую ночь всю напролет пришлось провести в бараке, днем тоже не удалось отдохнуть: после приема больных нужно было посетить кое-кого на дому, затем наведаться в барак. После обеда позвали на роды. Освободился я только к девяти часам вечера. Поужинал и напился чаю, раздеваюсь, с наслаждением поглядывая на постланную постель, – вдруг звонок: в барак привезли нового, очень трудного больного. Нечего делать, пошел...

Фельдшер с санитарями суетился вокруг койки; на койке лежал плотный мужик лет сорока, с русой бородой и наивным детским лицом. Это был ломовой извозчик, по имени

Игнат Ракитский. «Схватило» его на базаре всего три часа назад, но производил он очень плохое впечатление, и пульс уже трудно было нащупать. Работы предстояло много. Не менее меня утомленного фельдшера я послал спать и сказал, что разбужу его на смену в два часа ночи, а сам остался при больном.

Покорный и робкий, Игнат беспрекословно подчинился всему. Он принял лекарство, дал поставить высокую клизму; не пошевелился, когда я впрыскивал ему под кожу камфару; впрочем, он все время был в полубессознательном состоянии.

Я сел на табуретку. В ушах звенело, голова была словно налита свинцом. Игнат лежал на спине, полузакрыв глаза, и быстро, тяжело дышал. Вдруг он вздрогнул и поспешно приподнял голову с подушки. Степан, сидевший у его изголовья, подставил ему горшок для рвоты. Но голова Игната снова бессильно упала на подушку.

– Что же не блюешь? Аль не хочешь блевать? Гм... – Степан вздохнул и опустил горшок.

Игнат зашевелился на постели, стал подниматься на карачки.

– Что же это живот не унимается? Дюже болит живот! – выкрикнул он и снова свалился на бок.

Я подошел к нему.

– Дайте помочи!.. Печет под сердцем... – пробормотал он в промежутке между вздохами, вдруг задрожал, стиснув

зубы, и стал подтягивать сводимые судорогами ноги. Игнат смотрел в потолок мутящимися от боли глазами. Его посадили в ванну.

Степан шепнул мне:

– Сегодня утром шесть арбузов съел натошак, товарищи его сказывали; к обеду еще совсем здоров был, над докторами смеялся.

– Напиться!.. – с трудом выкрикнул больной, не поднимая понуренной головы.

Степан осторожно приподнял его голову и стал подносить кружку с ледяной водой. Игнат дернулся всем телом, и рвота широкою струею хлынула в ванну. Его снова перенесли на постель и окутали несколькими одеялами.

Час шел за часом, – медленно, медленно... У меня слипались глаза. Стоило страшного напряжения воли, чтоб держать голову прямо и идти, не волоча ног. Начинало тошнить... Минутами сознание как будто совсем исчезало, все в глазах заволакивалось туманом; только тускло светился огонь лампы, и слышались тяжелые отхаркивания Игната. Я поднимался и начинал ходить по комнате.

Игнат выкрикивал хриплым, неестественным голосом:

– Пузо болит!

«Пузо»... так только в псевдонародных рассказах мужики говорят, – подумал я с накипавшим враждебным чувством к Игнату, – Половина второго... Скоро можно будет разбудить фельдшера».

Я снова поставил больному клизму и вышел наружу. В темной дали спало Заречье, нигде не видно было огонька. Тишина была полная, только собаки лаяли, да где-то стучала трещотка ночного сторожа. А над головою бесчисленными звездами сияло чистое, синее небо; Большая Медведица ярко выделялась на западе... В темноте показалась черная фигура.

– Эй, почтенный, где тут доктора найти? Нельзя ли помочи поскорей? Девку схватило, помирает.

«Господи, еще!» – с отчаянием подумал я.

Разбудили фельдшера. Он вышел бледный, широко пяля заспанные глаза.

– Пойдите, пожалуйста, посмотрите, что там такое, – сказал я ему. – Если что серьезное, пришлите за мною...

Фельдшер почтительно возразил:

– Дмитрий Васильевич, да вы идите спать. Я один управлюсь; ведь вы и всю прошлую ночь не спали...

– Э, да идите уж! – нетерпеливо оборвал я его и пошел в барак.

Игнат сидел в ванне. Степан поддерживал его под мышки и грубовато-нежно переговаривался с ним, прикладывал ему лед к голове, давал пить. Игнат беспокойно ворочался в ванне и принимал самые неудобные позы, то и дело грозя захлебнуться.

Через минуту он снова попросился в постель. Степан и Андрей взяли его под мышки и приподняли. Он хотел пере-

шагнуть через край ванны, занес было ногу, – она упала назад, и Игнат, с вывернувшимися плечами, мешком повис на руках санитаров. Я взял его за ноги, мы понесли больного на постель. Все время его продолжало непроизвольно слабеть; теперь это была какая-то красноватая каша с отвратительным кислым запахом.

– Ишь арбузы пошли! – кивнул Степан.

Это действительно были арбузы; Игнат ел их с зернышками, с зеленью... И сколько он их съел! Лилось, лилось без конца, почти ведрами. Мы уложили его в постель.

Я ходил по комнате и давил в себе неистовую ненависть к Игнату: ведь он знал, что не должно есть арбузов, а все-таки ел, смеясь над докторами... Сам теперь виноват! И как все кругом отвратительно и мерзко, и как тяжело в голове...

Игнату становилось хуже. С серо-синим лицом, с тусклыми, как у мертвеца, глазами, он лежал, ежеминутно делая короткие рвотные движения. Степан подставлял ему горшок, больной отворачивал голову и выплевывал красную рвоту на одеяло. Время от времени Игнат приподнимался, с силою опирался о постель и, шатаясь, становился на карачки.

Степан осторожно поддерживал его.

– Дядя Игнат! Ляжь, как следует!

– Пузо дюже болит! – быстрым, шелестящим шепотом произносил больной, и следовал глубокий вздох, подводивший живот далеко под ребра.

Ведь вот на постели может же он подниматься, как хочет, а

из ванны вынимать, – висит мешком, ноги поднять не хочет. И зачем он плюет на одеяло, когда ему подставляют горшок?

Светало. В бараке было тихо, и только слышно было, как порывисто дышал Игнат. Лицо его стало серо-свинцового цвета, сухие тубы чернели под редкими усами. Иногда он быстро приподнимал голову с подушки и вдруг устремлял на меня блеснувшие глаза, – большие, грозные и испуганные... Пульса у него давно уже не было.

Мне вдруг показалось, что кровать с Игнатом взвилась под потолок, окна завертелись. Я схватился за стол, чтоб не упасть. Еще раз сделав над собою усилие, я впрыснул больному камфару и вышел наружу.

Туман клубами поднимался с соседнего болота, было сыро и холодно. Я присел на лавку и закурил папиросу. На сердце было одно чувство, – тупое, бесконечное отвращение и к этому больному, и ко всей окружающей мерзости, рвоте, грязи. Все вздор, – вся эта деятельность для других, все... Одно хорошо: прийти домой, выпить стакан горячего чаю с коньяком, лечь в чистую, уютную постель и сладко заснуть... «И почему я не делаю этого? – со злостью подумал я. – Ведь я врач, а исполняю роль сестры милосердия. Моя ли вина, что я не могу добиться от управы помощника врача или студента, что я все один и один? Буду утром и вечером посещать барак, – чего еще можно от меня требовать? Так все и делают. У врача голова должна быть свежа, а у меня...» Я стал высчитывать, сколько времени я не спал: сорок четыре

часа, почти двое суток.

У околицы залаяли собаки. Я с надеждою стал вглядываться в туман: может быть, фельдшер идет. Нет, прошла баба какая-то... Вдали поют петухи, из барака доносятся глухие отхаркивания Игната. Я заметил, что сижу как-то особенно грузно и что голова совсем уже лежит на плече. Я встал и снова вошел в барак.

Игнат неподвижно лежал на спине, закинув голову. Между черными, запекшимися губами белели зубы. Тусклые глаза, не моргая, смотрели из глубоких впадин. Иногда рвотные движения дергали его грудь, но Игнат уже не выплевывал... Он начинал дышать все слабее и короче. Вдруг зашевелил ногами, горло несколько раз поднялось под самый подбородок, Игнат вытянулся и замер; по его лицу быстро пробежала неуловимая тень... Он умер.

Я стоял, прикусив губу, и неподвижно смотрел на Игната. Лицо его с светло-русою бородою стало еще наивнее. Как будто маленький ребенок увидал неслыханное диво, ахнул да так и застыл с разинутым ртом и широко раскрытыми глазами. Я велел дезинфицировать труп и перенести в мертвецкую, а сам побрел домой.

И вот прошло всего каких-нибудь полсутки. Я выспался и встал бодрый, свежий. Меня позвали на дом к новому больному. Какую я чувствовал любовь к нему, как мне хотелось его отстоять! Ничего не было противно. Я ухаживал за ним, и мягкое, любовное чувство овладевало мною. И я думал об

этой возмутительной и смешной зависимости «нетленного духа» от тела: тело бодро, – и дух твой совсем изменился; ты любишь, готов всего себя отдать...

14 августа

Я уже давно не писал здесь ничего. Не до того теперь. Чуть свободная минута, думаешь об одном: лечь спать, чтоб хоть немного отдохнуть. Холера гуляет по Чемеровке и валит по десяти человек в день. Боже мой, как я устал! Голова болит, желудок расстроен, все члены словно деревянные. Ходишь и работаешь, как машина. Спать приходится часа по три в сутки, и сон какой-то беспокойный, болезненный; встаешь таким же разбитым, как лег.

Кругом десятками умирают люди, смерть самому тебе заглядывает в лицо, – и ко всему этому относишься совершенно равнодушно: чего они боятся умирать? Ведь это такие пустяки и вовсе не страшно.

18 августа

Буду рассказывать по порядку.

Это произошло на успение. Пообедав, я отпустил Авдотью со двора, а сам лег спать. Спал я крепко и долго. В передней вдруг раздался сильный звонок; я слышал его, но мне не хотелось просыпаться: в постели было тепло и уютно, мне вспоминалось далекое детство, когда мы с братом спали рядом в маленьких кроватках... Сердце сладко сжималось, к

глазам подступали слезы. И вот нужно просыпаться, нужно опять идти туда, где кругом тебя только муки и стоны...

Колокольчик зазвенел сильнее и окончательно разбудил меня. Я встал и пошел отпереть. В окно прихожей видно было, что звонится Степан Бондарев. Он был без шапки, и лицо его глядело странно.

Я отпер дверь. Степан медленно шагнул в прихожую, слабо пошатнувшись на пороге.

– Дмитрий Васильевич, к вам!

Он коротко и глухо всхлипнул. Лицо его было в кровоподтеках, глаза красны, рубаха разодрана и залита кровью.

– Степан, что с вами?!

– К вам вот пришел. Ребята убить грозятся; ты, говорят, холерный... Мол, товарищей своих продал... с докторами связался...

Он опять глухо всхлипнул и отер рукавом кровь с губы.

– Да в чем дело? Какие ребята? Войдите, Степан, успокойтесь!

Я ввел его в комнату, усадил, дал напиток. Степан машинально сел, машинально выпил воду. Он ничего не замечал вокруг, весь замерши в горьком, недоумевающем испуге.

– Ну, рассказывайте, что такое случилось с вами.

Неподвижно глядя, Степан медленно заговорил.

– Говорят: холерный, мол, ты!.. Это зашел я сейчас в харчевню к Расторгуеву, спросил стаканчик, Народу много, пьяные все... «А, говорят, вон он, холерный, пришел!» Я молчу,

выпил стаканчик свой, закусываю... Подходит Ванька Ермолаев, токарь по металлу: «А что, почтенный, нельзя ли, говорит, ваших докторей-фершалов побеспокоить?» – «На что они, говорю, тебе?» – «А на то, чтоб их не было. Нельзя ли?» – «Что ж, говорю, пускай доктор рассудит, это не мое дело». – «Мы, говорит, твоего доктора сейчас бить идем, вот для куражу выпиваем». – «За что?» – «А такая уж теперь мода вышла, – докторей-фершалов бить». – «Что ж, говорю, в чем сила? Сила большая ваша... Как знаете...»

Я дрожал крупной, частою дрожью. Мне досадно было на эту дрожь, но подавить ее я не мог. И сам не знал, от волнения ли она, или от холода; я был в одной рубашке, без пиджака и жилета.

– Как холодно! – сказал я и накинул пальто.

Степан, не понимая, взглянул на меня.

– «Ишь, говорят, тоже фершал выискался! – продолжал он. – Иди, иди, говорят, а то мы тебя замуздаем по рылу!» – «Что ж, говорю, я пойду!» – Повернулся, – вдруг меня кто-то сзади по шее. Бросились на меня, начали бить... Я вырвался, ударился бежать. Добежал до Серебрянки; остановился: куда идти? Никого у меня нету... Я пошел и заплакал. Думаю: пойду к доктору. Скучно мне стало, скучно: за что?...

Он замолчал, глухо и прерывисто всхлипывая. У меня самого рыдания подступили к горлу. Да, *за что?*

Ясный августовский вечер смотрел в окно, солнце красными лучами скользило по обоям. Степан сидел понурился го-

лову, с вздрагивавшею от рыданий грудью. Узор его закапанной кровью рубашки был мне так знаком! Серая истасканная штанина поднялась, из-под нее выглядывала голая нога в стоптанном штиблете... Я вспомнил, как две недели назад этот самый Степан, весь забрызганный холерною рвотою, три часа подряд на весу продержал в ванне умиравшего больного. А *те* боялись даже пройти мимо барака...

И вот теперь, отвергнутый, избитый ими, он шел за защитою ко мне: я сделал его нашим «сообщником», из-за меня он стал чужд своим.

Степан заговорил снова:

– «Завелись, говорят, доктора у нас, так и холера пошла». Я говорю: «Вы подумайте в своей башке, дайте развитие, – за что? Ведь у нас вон сколько народу выздоравливает: иной уж в гроб глядит, и то мы его отходим. Разве мы что делали, разве с нами какой вышел конфуз?...»

В комнату неслышно вошел высокий парень в пиджаке и красной рубашке, в новых, блестящих сапогах. Он остановился у порога и медленно оглядел Степана. Я побледнел.

– Что вам нужно?

Он еще раз окинул взглядом Степана, не отвечая, повернулся и вышел. Я тогда забыл запереть дверь, и он вошел незамеченным.

Я закинул крючок на наружную дверь и воротился в комнату. Сердце билось медленно и так сильно, что я слышал его стук в груди. Задыхаясь, я спросил:

– Что это, из *тех* кто-нибудь?

– Ванька Ермолаев и есть. Сейчас все здесь будут.

Что было делать? Бежать? Но одна мысль о таком унижении бросала меня в краску: выскочить в окно, подобно вору, пробираться задами... Да и куда было бежать?

Я молча ходил по комнате. Ноги ступали нетвердо, по спине непрерывно бегала мелкая, быстрая дрожь. Мне вдруг во всех подробностях вспомнилась смерть доктора Молчанова, недавно убитого толпою в Хвалынске... Беспричинность и неожиданность случившегося не удивляли меня теперь: мне казалось, в глубине души я давно уже ждал чего-то подобного... На сердце было страшно тоскливо. Но рядом с этим гордо-уверенное, радостное чувство поднималось во мне: я не знал еще, что буду делать, но я знал, что заслоню и защищу Степана.

Случайно я увидел в зеркале свое отражение: бледное, искаженное страхом лицо глянуло на меня холодно и странно, как чужое. Мне стало стыдно Степана и досадно, что он видит меня в таком состоянии... Ну, да теперь уж все равно...

Я остановился у окна. Над садом в дымчато-голубой дали блестели кресты городских церквей; солнце садилось, небо было синее, глубокое... Как там спокойно и тихо!.. И опять эта неприятная дрожь побежала по спине. Я повел плечами, засунул руки в карманы и снова начал ходить.

В наружную дверь раздался сильный удар, в то же время оглушительно зазвенел звонок – раз, другой, – и звонок обо-

рвался.

– Они! – апатично сказал Степан.

В дверь посыпались удары.

Со мною произошло то, что всегда бывало, когда я шел на что-нибудь страшное: во мне вдруг все словно замерло и я сделался спокоен. Но что-то странное в этом спокойствии: как будто другой кто уверенно и находчиво действует во мне, а сам я со страхом слежу со стороны за этим другим.

– Оставайтесь здесь, – сказал я Степану, вышел в прихожую и запер комнату на ключ. Ключ я положил себе в карман.

Наружная дверь трещала от ударов, за нею слышен был гул большой толпы. Я скинул крючок и вышел на крыльцо.

Как взрыв, раздался злобно-радостный рев. Я быстро спустился с крыльца и вошел в середину толпы.

– Что это, господа, чего вы?

– Фершала давай своего!

Серьезно и озабоченно я спросил:

– Фельдшера? Зачем он вам?

Маленький худощавый старик с красными глазами, торопливо засучивая рукава, протискивался ко мне сквозь толпу.

– Зачем?... Зачем?... – бессмысленно повторял он и рвался ко мне, наталкиваясь на плечи и спины.

Я шагнул навстречу.

– Ну, вот он мне объяснит, погодите кричать... Пропусти-

те же его, дайте дорогу!.. Вот... Ну, в чем дело? – коротко и решительно обратился я к старику.

Мы очутились друг против друга. Старик опешил и неподвижно смотрел на меня.

– Что такое случилось?

Он быстро и оторопело пробормотал:

– Вы чего народ морите?

Я удивленно поднял голову.

– Что такое? Мы – народ морим?! Откуда это ты, старик, выдумал? Народу у меня в больнице лежало много, – что же, из них кто-нибудь это сказал тебе?... Не может быть! Спросить многих можно, – мало ли у нас выздоровело! Рыков Иван, Артюшин, Кепанов, Филиппов... Все у меня в больнице лежали. Ты от них это слышал, это они говорили тебе? – настойчиво спросил я.

Старик странно морщился и дергал голову.

– Мы, господин, знаем... Мы всё-ё знаем!..

– Ну, нет, брат, погоди! Дело тут серьезное. Если знаешь, то толком и говори. Где мы народ морили, когда?... Господа, может быть, из вас кто-нибудь это скажет? – обратился я к окружающим.

Никто не ответил. Отовсюду смотрели чуждые, враждебно выжидающие глаза. Сзади вытягивались головы с нетерпеливо хмурившимися лицами. Ванька Ермолаев, закусив губу, с насмешливым любопытством следил за мною.

– Ну, хорошо, вот что! – решительно произнес я. – Пой-

демте сейчас все вместе в барак, спросим тех, кто там лежит, что они скажут: делаем мы им какое худо или нет. Если что скажут против меня, – я в ответе.

– Да пойдем, чего там! Думаешь, боимся байрака твоего? – быстро сказал Ванька Ермолаев и двинулся с места.

– Пойдемте!

Толпа колыхнулась, и мы направились к бараку.

Я закурил папиросу и заговорил:

– Ведь вот, господа, пришли вы сюда, шумите... А из-за чего? Вы говорите, народ помирает. Ну, а рассудите сами, кто в этом виноват. Говорил я вам сколько раз: поосторожнее будьте с зеленью, не пейте сырой воды. Ведь кругом ходит зараза. Разорение вам какое, что ли, воду прокипятить? А поди ты вот, не хотите. А как схватит человека, – доктора виноваты. Вот у меня недавно один умер: шесть арбузов натощак съел! Ну скажите, кто тут виноват? Или вот с водкой: говорил я вам, не пейте водки, от нее слабеет желудок...

– Нет, господин, вино не вредит! – вмешался шедший рядом мастеровой. – Она эту самую заразу убивает, она в пользу.

– В пользу? А вот приходите-ка в больницу после праздника: как настанет праздник, выпьет народ, так на другой день сразу вдвое больше больных; и эти всего легче помирают: вечером принесут его, а утром он уже богу душу отдает.

– И похмелиться не поспевши, го-го! – засмеялись в толпе.

– Чего смеетесь? Дурье! – строго остановил Ванька Ермаев.

Вдали виднелся барак. Чтоб не беспокоить больных, я решил взять с собою только двух-трех человек, а остальных оставить ждать у барака.

Вдруг из-за угла мелочной лавки показался приземистый фабричный в длинной синей чуйке. Он, видимо, искал нас и, завидев толпу, побежал навстречу. Я живо помню его бледное лицо с низким лбом и огромною нижнею челюстью... Все произошло так быстро, как будто сверкнула молния. Толпа раздалась. Человек в чуйке молча скользнул по мне взглядом и вдруг, коротко и страшно сильно размахнувшись, ударил меня кулаком в лицо. У меня замутилось в глазах, я отшатнулся и схватился за голову. В ту же минуту второй удар обрушился мне на шею.

– Го-о... Бе-ей!! – неистово завопил говоривший со мною старик и ринулся на меня, и все кругом всколыхнулось.

От толчка в спину я пробежал несколько шагов: падая, ударился лицом о чье-то колено; это колено с силой отшвырнуло меня в сторону. Помню, как, вскочив на ноги и в безумном ужасе цепляясь за чей-то рвавшийся от меня рукав, я кричал: «Братцы!.. голубчики!..» Помню пьяный рев толпы, помню мелькавшие передо мною красные, потные лица, сжатые кулаки... Вдруг тупой, тяжелый удар в грудь захватил мне дыхание, и, давясь хлынувшею из груди кровью, я без сознания упал на землю.

19 августа

Я уж третий день лежу в больнице. У меня открылось сильное кровохарканье, которое еле остановили; дело плохо. Меня два раза навестил губернатор, навестили еще какие-то важные лица. Все они говорят мне что-то очень любезное, крепко жмут руку. Я смотрю на них, но мало понимаю из того, что они говорят. Гвоздем сидит у меня в голове воспоминание о случившемся, и сердце ноет нестерпимо. И я все спрашиваю себя: да неужели же вправду это было?... И, однако, это так: я лежу в больнице, изувеченный и умирающий; передо мною как живые стоят перекошенные злобой лица, мне слышится крик: «Бей его!..» И они меня *били, били!* Били за то, что я пришел к ним на помощь, что я нес им свои силы, свои знания, – все... Господи, господи! Что же это, – сон ли тяжелый, невероятный, или голая правда?... Не стыдно признаваться, – я и в эту минуту, когда пишу, плачу, как мальчик. Да, теперь только вижу я, как любил я народ и как мучительно горька обида от него.

Нужно умирать. Не смерть страшна мне: жизнь холодная и тусклая, полная бесплодных угрызений, – бог с нею! Я об ней не жалею. Но *так* умирать!.. За что ты боролся, во имя чего умер? Чего ты достиг своею смертью? Ты только *жертва*, жертва бессмысленная, никому не нужная... И напрасно все твое существо протестует против обидной ненужности этой жертвы: так и должно было быть...

20 августа

Мне не спится по ночам. Вытягивающая повязка на ноге мешает шевельнуться, воспоминание опять и опять рисует недавнюю картину. За стеною, в общей палате, слышен чей-то глухой кашель, из рукомойника звонко и мерно капает вода в таз. Я лежу на спине, смотрю, как по потолку ходят тени от мерцающего ночника, – и хочется горько плакать. Были силы, была любовь. А жизнь прошла даром, и смерть приближается, – такая же бессмысленная и бесплодная... Да, но какое я *право* имел ждать лучшей и более славной смерти?

Они били меня, как забежавшую бешеную собаку, – меня, против которого ничего не могли иметь. Пять недель работая среди них, каждым шагом доказывая свою готовность помогать и служить им, я не смог добиться с их стороны простого доверия; я *принуждал* их верить себе, но довольно было рюмки водки, чтоб все исчезло и проснулось обычное стихийное чувство. Пять недель! Я в пять недель думал уничтожить то, что создавалось долгими годами. С каких это пор привыкли они встречать в нас друзей, когда видели они себе пользу от наших знаний, от всего, что ставило нас выше их? Мы всегда были им чужды и далеки, их *ничто* не связывало с нами. Для них мы были людьми другого мира, брезгливо сторонящимися от них и не желающими их знать. И разве это неправда? Разве иначе была бы возможна та до ужаса глубокая пропасть, которая отделяет нас от них?

Я знаю: то, что я здесь пишу, избито и старо; мне бы самому в другое время показалось это фальшивым и фразистым. Но почему теперь в этих избитых фразах чувствуется мне столько тяжелой правды, почему так жалко-ничтожною кажется мне моя прошлая жизнь, моя деятельность и любовь? Я перечитывал дневник: жалобы на себя, на время, на все... этим жалобам не было бы места, если бы я тогда видел и чувствовал то, что так ярко и так больно бьет мне теперь в глаза.

23 августа

Трудно писать, рука плохо слушается. Процесс в легких идет быстро, и жить остается немного. Я не знаю, почему теперь, когда все кончено, у меня так светло и радостно на душе. Часто слезы безграничного счастья подступают к горлу, и мне хочется сладко, вольно плакать.

Я часто впадаю в забытье. И когда я открываю глаза, я вижу сидящую у моих ног молчаливую, понурую фигуру Степана. Как он сюда попал? Я вскоре узнал: он пришел к главному врачу больницы, поклонился ему в ноги и не вставал с колен, пока тот не позволил ему оставаться при мне безотлучно. Я не знаю, когда он спит: днем ли проснешься, ночью, – Степан все сидит на своей табуретке – молчаливый, неподвижный... Я смотрю на этого дважды спасенного мною человека, и мне хочется крепко пожать его руку. Я пошевельнусь, – он встает и поправляет сбившуюся подо мною подушку, дает мне пить. И я опять забываюсь...

Передо мною стоит Наташа. Она горько плачет, закрыв глаза рукою. Мне странно, – неужели Наташа тоже умеет плакать? Я тихо глажу ее трепещущую от рыданий руку и не могу оторвать от нее глаз. И я говорю ей, чтоб она любила людей, любила народ; что не нужно отчаиваться, нужно много и упорно работать, нужно искать дорогу, потому что работы страшно много... И теперь мне не стыдно говорить эти «высокие» слова. Она жадно слушает и не замечает, как слезы льются по ее лицу. А я смотрю на нее, и тихая радость овладевает мною; и я думаю о том, какая она славная девушка, и как много в жизни хорошего, и... и как хорошо умирать...